

ЭРИХ ФРОММ

Анатомия человеческой деструктивности

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ



Эрих Фромм
Анатомия человеческой
деструктивности
Серия «Новая философия»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=148101

*Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; пер. с нем. Э.
М. Телятниковой. : АСТ-ЛТД; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-087248-0*

Аннотация

В своей книге «Анатомия человеческой деструктивности» Эрих Фромм сделал попытку философского переосмысления природы агрессивности и разрушительного начала в человеке, социуме и в истории, обобщив исследования по этому вопросу в самых разных областях науки, включая историю, палеонтологию, физиологию и психологию.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Гуманистический психоанализ Эриха Фромма	6
Предисловие	16
Терминологические пояснения	21
Введение: инстинкты и человеческие страсти	25
Часть первая	47
I. Представители инстинктивизма	47
Старшее поколение исследователей	47
Современное поколение исследователей:	50
Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц	
II. Бихевиоризм и теория среды	86
Теория среды у просветителей	86
Бихевиоризм	87
Необихевиоризм[25] Б. Ф. Скиннера	88
Бихевиоризм и агрессия	103
О психологических экспериментах	110
Теория фрустрационной агрессивности	150
III. Бихевиоризм и инстинктивизм: сходство и различия	155
Черты сходства	155
Новые подходы	158
О политической и социальной подоплеке обеих теорий	162
IV. Психоаналитический подход к пониманию	168

агрессивности	
Выводы	180
Часть вторая	184
V. Нейрофизиология	184
Отношения между психологией и нейрофизиологией	184
Мозг как основа агрессивного поведения[62]	191
Защитная функция агрессивности	195
Поведение хищников и агрессивность	200
VI. Поведение животных	205
Агрессивность в неволе	208
Агрессивность животных в естественных условиях обитания	221
Проблема территории и лидерства	229
Агрессивность других млекопитающих	237
VII. Палеонтология	246
Является ли человек особым видом?	246
Является ли человек хищником?	248
Конец ознакомительного фрагмента.	253

Эрих Фромм

Анатомия человеческой

деструктивности

Erich Fromm

ANATOMIE

DER MENSCHLICHEN DESTRUCTIVITÄT

Перевод с немецкого *Э.М. Телятниковой*

Компьютерный дизайн *В.А. Воронина*

Печатается с разрешения The Estate of Erich Fromm and of Annis Fromm и литературного агентства Liepman AG, Literary Agency.

© Erich Fromm, 1973

© Перевод. Э.М. Телятникова, наследники, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Гуманистический психоанализ Эриха Фромма

Эрих Фромм (1900–1980) – один из тех «великих психологов-теоретиков» (М. Ярошевский), чьи идеи оказали громадное влияние не только собственно на психологию, но и на философию, антропологию, историю, социологию. Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Карен Хорни, Гарри Салливан, Эрих Фромм – всех этих ученых отличало парадигмальное мышление, т. е. их идеи «рождали революцию в сознании людей» (П. Гуревич).

Начинал Фромм как ученик Фрейда, однако, подобно К. Г. Юнгу, достаточно быстро осознал ограниченность фрейдизма. Соглашаясь с тем, что Фрейд предложил человечеству принципиально новую схему мышления, он полагал, что фрейдизм есть «продукт своей культуры», не имеющий возможности выйти за ее рамки. Предложенный Фроммом «гуманистический психоанализ» – это попытка преодолеть «биологичность» и «мифологичность» учения Фрейда, соединить несомненные достижения фрейдизма с социологическими теориями в стремлении создать гармоничную общественную структуру, «здоровое общество» (так называлась одна из работ Фромма) на основе психоаналитической «социальной и индивидуальной терапии».

Эрих Фромм родился 23 марта 1900 г. во Франкфурте в ортодоксальной еврейской семье. Отец его торговал виноградным вином, а дед и прадед по отцовской линии были раввинами. Мать Эриха – Роза Краузе – по происхождению была из русских эмигрантов, переселившихся в Финляндию и принявших иудаизм.

Семья жила в соответствии с патриархальными традициями добуржуазной эпохи, отмеченной духом религиозности, трудолюбия и тщательного соблюдения обрядов.

Эрих получил хорошее начальное образование. Гимназия, в которой изучали латынь, английский и французский языки, пробудила в нем интерес к ветхозаветным текстам. Правда, он не любил сказаний о героических сражениях из-за их жестокости; зато ему нравились истории об Адаме и Еве, о предсказаниях Авраама и особенно пророчества Исаии и других пророков. Картины универсального мира, в котором лев и овца живут рядом, очень рано привлекали внимание мальчика, а позднее стали толчком к раздумьям о жизни человеческого сообщества, к идеям интернационализма. В средних классах гимназии у Эриха Фромма формируется протест против массового безумия, ведущего к войне, начало которой юноша встретил с болью и недоумением (1914 г.).

Одновременно он переживает и первое личное потрясение, которое оказало на него очень серьезное влияние: пре-

лестная молодая женщина, художница, друг семьи, совершила самоубийство после смерти своего старого, больного отца. Последняя ее воля состояла в том, чтобы ее похоронили вместе с отцом. Эрих мучительно размышляет над вопросами жизни и любви и, главное, стремится понять, насколько сильна была любовь этой женщины к отцу, что единение с ним (даже в смерти) она предпочла всем радостям жизни. Эти наблюдения и раздумья привели Фромма на путь психоанализа. Он стал пытаться понять мотивы человеческого поведения.

В 1918 г. он начинает изучать психологию, философию и социологию во Франкфуртском, а затем Гейдельбергском университетах, где среди прочих его учителей были Макс Вебер, Альфред Вебер, Карл Ясперс, Генрих Риккерт и другие философы мирового масштаба. В 22 года он стал доктором философии, а затем продолжил образование в Мюнхене и закончил его в известном Институте психоанализа в Берлине. Фромм рано познакомился с философскими работами К. Маркса, которые привлекли его прежде всего идеями гуманизма, понимаемого как полное освобождение человека, а также создание возможностей для его самовыражения.

Другим важнейшим источником личных и профессиональных интересов Фромма в 1920-е гг. становится психоанализ Зигмунда Фрейда. Первой женой Фромма была Фрида Райхман – образованная женщина, психолог; и Эрих, который был значительно моложе Фриды, под ее влиянием

увлекся клинической практикой психоанализа. Они прожили вместе всего четыре года, но на всю жизнь сохранили дружеское расположение и способность к творческому сотрудничеству.

Третьим духовным источником для Фромма был немецкий философ Иоганн Якоб Бахофен. Его учение о материнском праве впоследствии стало для Фромма важным аргументом, опровергающим фрейдовскую теорию либидо.

В 1920-е гг. Фромм познакомился с учением буддизма, которое воспринял как озарение, и был верен ему до глубокой старости.

В 1927–1929 гг. Фромм начинает много печататься. Известность ему принесло выступление с докладом «Психоанализ и социология», а затем публикация статьи под названием «О методе и задачах аналитической социальной психологии: замечания о психоанализе и историческом материализме».

Почти десять лет (1930–1939) его судьба связана с Франкфуртским институтом социальных исследований, который возглавлял Макс Хоркхаймер. Фромм руководит здесь отделом социальной психологии, проводит серию эмпирических исследований среди рабочих и служащих и уже к 1932 г. делает вывод о том, что рабочие не окажут сопротивления диктаторскому режиму Гитлера. В 1933 г. Фромм покидает Германию, переезжает в Чикаго, а затем в Нью-Йорк, куда вскоре перебазировается и Хоркхаймер с своим институтом. Здесь ученые вместе продолжают исследование социально-психо-

логических проблем авторитарности, а также выпускают периодическое издание «Журнал социальных исследований».

В 1940-е гг. конфронтация с Адорно и Маркузе приводит к отходу Фромма от франкфуртской школы. Оторвавшись от «немецких корней», он полностью оказывается в американском окружении: работает во многих учебных заведениях, участвует в различных союзах и ассоциациях американских психоаналитиков. Когда в 1946 г. в Вашингтоне создается Институт психологии, психиатрии и психоанализа, Фромм активно включается в систематическую подготовку специалистов в области психоанализа. Но Фромм никогда не был ординарным профессором какой-либо кафедры, он всегда читал свой курс на «междисциплинарном» уровне и, как никто, умел не только связать воедино данные антропологии, политологи и социальной психологии, но и проиллюстрировать их фактами из своей клинической практики.

В 1950-е гг. Фромм отходит от теории Фрейда и постепенно формирует свою собственную концепцию личности, которую сам назвал «радикальным гуманизмом».

Причины пересмотра Фроммом концепции Фрейда достаточно очевидны. Это прежде всего бурное развитие науки, особенно социальной психологии и социологии. Это потрясение, которое Фромм сам перенес в связи с приходом к власти фашизма, вынужденной эмиграцией и необходимостью переключения на совершенно новую клиентуру. Именно практика психотерапии на Американском контин-

ненте привела его к выводу о том, что неврозы XX в. невозможно объяснить исключительно биологическими факторами, что влечения и инстинкты – это совершенно недостаточная детерминанта поведения людей в индустриальном обществе.

«Невозможно перечислить всех радикальных гуманистов со времен Маркса, – говорит Фромм, – но я хотел бы назвать следующих: Торо, Эмерсон, Альберт Швейцер, Эрнст Блох, Иван Ильич; югославские философы из группы «Праксис»: М. Марквич, Г. Петрович, С. Стоянович, С. Супек, П. Вранички; экономист Э. Ф. Шумахер; политический деятель Эрхард Эпплер, а также многие представители религиозных и радикально-гуманистических союзов в Европе и Америке XX века».

Несмотря на все различия во взглядах радикальных гуманистов, их принципиальные позиции совпадают по следующим пунктам:

- производство должно служить человеку, а не экономике;
- отношения между человеком и природой должны строиться не на эксплуатации, а на кооперации;
- антагонизмы повсюду должны быть заменены отношениями солидарности;
- высшей целью всех социальных мероприятий должно быть человеческое благо и предотвращение человеческих страданий;
- не максимальное потребление, а лишь разумное потреб-

ление служит здоровью и благосостоянию человека;

– каждый человек должен быть заинтересован в активной деятельности на благо других людей и вовлечен в нее.

После окончания Второй мировой войны Фромм принимает решение не возвращаться в Германию. Он поселяется в Мексике на берегу моря (в городе Куэрно-Вако), получает профессию в Национальном университете в Мехико, сотрудничает с прогрессивно настроенными латиноамериканскими учеными, читает лекции в США.

1950-е годы примечательны интересом к социально-теоретическим и социально-политическим проблемам. Труды этих лет: лекции «Психоанализ и религия», анализ эпоса «Сказки, мифы и сновидения» (1951), две философские работы – «Здоровое общество» (1955) и «Современный человек и его будущее» (1959), а также много публичных выступлений, докладов и статей. Фромм участвует в политической деятельности, в разработке программы американской социал-демократической федерации (СДФ), в которую вступил ненадолго, пока не убедился, что социал-демократия сильно «поправела».

Трудно поверить, что в самом начале 1960-х гг. (т. е. задолго до того, как кто-либо из политиков заговорил о возможности разрядки в отношениях между двумя сверхдержавами) Фромм писал о «деструктивном потенциале американского антикоммунизма» и о необходимости «здорового рационального мышления ради безопасности в всем мире».

Кто-то, быть может, помнит, что осенью 1962 г. Фромм приезжал в Москву, где принимал участие в качестве наблюдателя в конференции по разоружению.

Анализ «кибернетического общества», проделанный Фроммом в 1960–1970-е гг., привел его к созданию самостоятельной «типологии социальных характеров»: общество отчуждения «опредмечивает» человека, заявляет Фромм, превращает его в песчинку, колесико, с единственной задачей – вращать гигантскую машину вооружения... Такое общество, без сомнения, создает особый «деструктивный тип личности», который становится угрозой для самого существования человечества.

Последние 11 лет (с 1969 по 1980 г.) Фромм живет в Швейцарии (Локарно), пишет по-английски и по-немецки, печатается во всех странах мира и с удовольствием выступает перед немецкоязычной аудиторией после долгих лет разлуки с Европой.

Семидесятилетний ученый не только не чувствует себя стариком, но и в жизни, и в творчестве переживает подлинный расцвет. Он пишет в эти годы свою «интеллектуальную биографию» под названием «По ту сторону от иллюзий»; две важнейшие работы, которые сам он называл «труды моей души»: «Психоанализ и дзэн-буддизм» и «Душа человека». В конце 1960-х гг. он завершает работу над книгой «Революция надежды» и вплотную берется за исследование проблем агрессивности. Труд оказался безмерным, но спустя

пять лет он принес весьма зримый результат – книгу объемом 450 страниц, которой автор намеренно дал очень строгое и точное название «Анатомия человеческой деструктивности». Непосредственно над книгой Фромм работал с 1968 по 1973 г., но подготовка к ней шла более трех десятилетий, ибо исходным пунктом своих научных размышлений об истоках агрессии сам автор считает собственные первые исследования авторитарности, а также изучение и описание характера Гитлера («Бегство от свободы», 1941). Позднее в ученом мире большая работа Фромма была оценена как оригинальная теория личности. Эта книга еще больше усилила интерес европейцев к творчеству Фромма, особенно после выхода в свет его книги «Иметь или быть». Последней публикацией при жизни стала давно задуманная книга о Фрейде.

Когда Фромм не стало, его ассистент подготовил изданию в Германии Полное собрание сочинений в 10 томах, а швейцарский журналист Ханс Юрген Шульц воспроизвел запись 10 радиобесед с Фроммом и издал их в книге под названием «О любви к жизни».

Очевидная заслуга Фромма и его соратников состоит в том, что их усилиями психоанализ из научной теории превратился в своего рода терапевтическую практику (особенно в западном обществе), можно даже сказать – в философию. Заслуга – и одновременно вина, ведь в современном обществе психоанализ, благодаря своей «философской», «гума-

нистической» составляющей, сделался почти религией, подобно юриспруденции: недаром в социальном коде западного общества понятие «достойной жизни» включает в себя наличие собственного адвоката и собственного психоаналитика. «Сегодня психоанализ представляет собой некий суррогат религии для утративших веру и выбитых из традиционной культуры европейцев и американцев. Вместе с экзотическими восточными учениями, оккультизмом, биоэнергетикой и другими «плодами просвещения» психоанализ занимает в душе западного человека место, освобожденное христианством» (А. Руткевич).

Впрочем, для самого Фромма психоанализ – будь то классический или гуманистический – отнюдь не был «суррогатом религии». Это – лишь веха, репер, указатель, помогающий обрести «путь к себе», сделать выбор между «иметь» и «быть», найти точку опоры в мире, увлеченно предающемуся «бегству от свободы».

Эмилия Телятникова

Предисловие

Это издание представляет собой первый том обширного исследования в области теории психоанализа. Я занялся изучением агрессии и деструктивности не только потому, что они являются одними из наиболее важных теоретических проблем психоанализа, но и потому еще, что волна деструктивности, захлестнувшая сегодня весь мир, дает основание думать, что подобное исследование будет иметь серьезную практическую значимость.

Более шести лет назад, когда я начинал писать эту книгу, я недооценивал возможные трудности и препятствия. Вскоре мне стало ясно, что, оставаясь в профессиональных границах собственно психоанализа, я не смогу адекватно оценить проблемы человеческой деструктивности. Хотя такое исследование и имеет в первую очередь психоаналитический аспект, мне были необходимы данные из других областей знания, особенно нейрофизиологии, психологии животных, палеонтологии и антропологии. Я был вынужден сравнивать свои выводы с важнейшими выводами других наук, чтобы убедиться, что эти выводы не противоречат моим гипотезам.

Поскольку в то время еще не было обобщающих работ по проблеме агрессивности, не было ни отчетов, ни обзоров, я был вынужден сам проделать эту работу. Так что я попытался оказать услугу моим читателям и рассмотреть проблему

деструктивности с глобальных позиций, а не только с точки зрения отдельной научной дисциплины. Такая попытка, естественно, небезопасна. Ведь ясно, что я не мог быть достаточно компетентным во всех областях; меньше всего знаний у меня было в области неврологии. А теми знаниями, которые я приобрел, я обязан не столько своим собственным трудам, сколько дружескому участию нескольких специалистов по неврологии, которые дали мне ценные советы, ответили на многие мои вопросы, а также просмотрели значительную часть моей рукописи¹. При этом следует добавить, что нередко многие специалисты выступают с совершенно различных позиций, между ними нет единства – особенно в области палеонтологии и антропологии. После серьезного изучения всех точек зрения я остановился на тех, которые либо признаются большинством авторов, либо убеждают меня своей логикой, либо, наконец, на тех, которые, казалось, меньше подвержены воздействию господствующих предрассудков. Подробно изложить все полярные точки зрения невозможно в рамках одной книги; но я попытался, насколько возможно, привести противоположные воззрения и дать им критическую оценку. И если даже специалисты обнаружат, что я не могу предложить им ничего нового в их узкой области, они все равно, вероятно, будут приветствовать возможность расширить свои знания об интересующем

¹ Последующий текст до конца абзаца был добавлен Фроммом в немецкое издание.

их предмете за счет информации из других исследовательских сфер.

Есть сложности с повторами из моих ранних работ. Ведь я работаю над проблемами индивида и общества более 40 лет, и каждый раз, сосредоточивая свое внимание на новом аспекте этой проблемы, я одновременно уточнял, углублял и оттачивал свои идеи, проработанные в прежних исследованиях. Я не мог писать о деструктивности, не используя многих уже высказанных ранее идей, хотя и пытался по возможности избегать повторов, отсылая читателей к более подробному изложению в других публикациях, однако это не всегда удавалось. Это особенно касается моей книги «Душа человека» (101, 1964a)², где в зародыше уже содержались мои нынешние идеи о некрофилии и биофилии, которые мне сегодня удалось не только развернуть теоретически, но и подкрепить значительным числом клинических случаев.

Мне приятно поблагодарить тех, кто помог мне в создании этой книги. Это прежде всего доктор Жером Брамс, которому я многим обязан.

Я благодарю доктора Хуана де Диос Эрнандеса, который помог мне в области нейрофизиологии. В ходе наших дискуссий, длившихся часами, он дал мне информацию о литературе, а также просмотрел и откомментировал те части моей рукописи, которые посвящены проблемам нейрофизиоло-

² Названия работ даны в редакции переводчика. 101 – порядковый номер в списке литературы, 1964a – год издания. – *Примеч. ред.*

гии.

Я благодарю таких специалистов в области неврологии, как покойный доктор Рауль Эрнандес Пеон, д-р Роберт Б. Ливингстон, д-р Роберт Г. Хит, д-р Хайнц фон Фёрстер и д-р Теодор Мельничук. Доктора Ф. О. Шмидта я благодарю за организацию конференции в Массачусетском технологическом институте, на которой ученые-нейрофизиологи ответили на многие мои вопросы. Я благодарю Альберта Шпера, который сообщил неизвестные мне ранее сведения о Гитлере, а также Роберта Кемпнера, официального обвинителя с американской стороны на Нюрнбергском процессе, за предоставленную мне информацию. Я должен поблагодарить также д-ра Дэвида Шехтера, Микаэля Маккоби, Гертруду Гунзикер-Фромм за прочтение рукописи, ценную критику и конструктивные предложения; д-ра Ивана Иллича и Рамона Ксирау – за поддержку моих философских идей; д-ра В. А. Мэзона за советы в области психологии животных; д-ра Гельмута де Терра за комментарии по палеонтологии, Макса Гунзикера – за ценные идеи в области сюрреализма, а Хайнца Брандта – за информацию в области нацистской практики. Я благодарю д-ра Калинковича за живой интерес к моей работе, д-ра Иллича и мисс Валентину Боресман – за дружескую поддержку при отборе литературы в Международном центре документации в Куэрनावака. Пользуюсь случаем поблагодарить мисс Беатрис Майер, которая 20 лет перепечатывает мои рукописи, внося в них необходимую и ценную

литературную правку, а также компетентнейшего редактора Марион Одомирок и многих других.

Это исследование было поддержано Национальным институтом умственного здоровья Государственной службы здравоохранения (грант № МН 13144-01, МН 13144-02). Я признателен также Фонду Альберта и Мэри Ласкер, благодаря которому я смог воспользоваться помощью ассистента.

Э. Ф.

Нью-Йорк, май 1973 г.

Терминологические пояснения

Многозначность слова «агрессия» вызывает большую неразбериху в литературе. Оно употребляется и по отношению к человеку, который защищается от нападения, и к разбойнику, убивающему свою жертву ради денег, и к садисту, пытающему пленника. Путаница еще более усиливается, поскольку этим понятием пользуются для характеристики сексуального поведения мужской половины человеческого рода, для целеустремленного поведения альпиниста, торговца и даже крестьянина, рьяно трудящегося на своем поле. Возможно, причиной такой путаницы является бихевиористское влияние в психологии и психиатрии¹. Если обозначать словом «агрессия» все «вредные» действия, т. е. все действия, которые наносят ущерб или приводят к разрушению живого или неживого объекта (растения, животного и человека в том числе), то тогда, конечно, поиск причины утрачивает свой смысл, тогда безразличен характер импульса, в результате которого произошло это вредное действие. Если называть одним и тем же словом действия, направленные на разрушение, действия, предназначенные для защиты, и действия, осуществляемые с конструктивной целью, то, пожалуй, надо расстаться с надеждой выйти на понимание «причин», лежащих в основе этих действий; ведь у них нет од-

ной общей причины, так как речь идет о совершенно разнородных явлениях, и потому попытка обнаружить причину «агрессии» ставит исследователя в позицию, безнадёжную с теоретической точки зрения³.

Возьмем, к примеру, К. Лоренца². Первоначально он понимал под агрессией необходимый биологический импульс, развивающийся в результате эволюции в целях выживания индивида и вида. Но поскольку он подвел под это понятие такие аффекты, как жажда крови и жестокость, то отсюда следует, что и данные иррациональные страсти *в такой же мере* являются врожденными. Тогда можно предположить, что причины войн коренятся в жажде убивать, т. е. что войны обусловлены врожденной склонностью человека к разрушению. При этом слово «агрессия» служит удобным мостиком для соединения биологически необходимой агрессии (не злонамеренной) с несомненно злонамеренной, злокачественной человеческой деструктивностью. По сути дела, такая «аргументация» основана на обыкновённом формально-логическом силлогизме: поскольку биологически необходимая агрессия – врождённое качество, а деструктивность и жестокость – агрессия, то, следовательно, деструктивность и

³ Правда, следует учесть, что у Фрейда была идея о различных формах агрессии. Кроме того, Фрейд рассматривал мотивы, лежащие в основе агрессии, не в духе бихевиоризма; скорее всего, он следовал общераспространённому употреблению этого понятия, выбирая самый широкий его смысл, в рамках которого ему было удобнее всего разместить свои собственные категории, например влечение к смерти.

жестокость суть врожденные качества – q. e. d.⁴

Я в данной книге употреблял слово «агрессия» в отношении поведения, связанного с самообороной, с ответной реакцией на угрозу, и в конечном счете пришел к понятию доброкачественной агрессии. А специфически человеческую страсть к абсолютному господству над другим живым существом и желание разрушать (злокачественная агрессия) я выделяю в особую группу и называю словами «деструктивность» и «жестокость». Там, где я считал необходимым в определенном контексте использовать слово «агрессия» в другом смысле (не в смысле реактивной и оборонительной агрессии), я делал это во избежание двусмысленности, имея в виду самый прямой смысл слова.

Далее, когда речь идет о человеке, я повсюду для упрощения текста употребляю местоимение «он»⁵. Хотя я и придаю большое значение отдельному слову, но, с другой стороны, считаю, что не стоит фетишизировать слова, и предпочитаю больше внимания уделять не слову, а идее, которая им обозначена. А что такое словоупотребление не имеет ничего общего с патриархальными принципами – это явствует из всего содержания данной книги.

Ради соблюдения документальной точности основные цитаты сопровождаются указанием на имя автора и год издания его работы. Благодаря этому читатель может самостоятель-

⁴ Quod est demonstrandum – что и требовалось доказать (лат.). – *Примеч. перев.*

⁵ Без разделения по принципу пола: «он» или «она». – *Примеч. перев.*

но почерпнуть дальнейшую информацию из библиографии. Приведенные ссылки не всегда относятся к первому изданию, как, например, при цитировании Спинозы (254, 1927).

Введение: инстинкты и человеческие страсти

*Сменяющие друг друга поколения
становятся все хуже и хуже.
Наступит время, когда они будут такими
злыми,
что начнут поклоняться силе и могуществу.
Сила тогда станет самооправданием,
а добро больше не будет в почете.
В конце концов, когда люди прекратят
возмущаться бесчинствами или утратят
чувство стыда при виде униженных
и несчастных, Зевс уничтожит их всех.
И все же этого можно избежать, если
простой народ способен подняться и
сбросить тиранов, которые его угнетают.*

Греческий миф о железном веке³

*Мысли об истории делают меня пессимистом...
но мысли о предыстории делают меня
оптимистом.
Ян Смит*

Человек, с одной стороны, сродни многим видам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего собственного рода. Но с другой стороны, среди многих тысяч биологических

видов, борющихся друг с другом, только человек ведет разрушительную борьбу...

Человек уникален тем, что он составляет род массовых убийц; это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так?

Н. Тинберген

Постоянно растущие во всем мире насилие и деструктивность привлекли внимание специалистов и широкой общественности к теоретическому исследованию сущности и причин агрессии. Такое внимание к данной проблеме не может никого удивить; заслуживает удивления лишь то, что этот интерес возник так поздно, особенно если учесть, что такой выдающийся исследователь, как Фрейд, после пересмотра своей теории, центральной идеей которой была идея сексуальности, уже в 20-е гг. создал новую теорию, в которой страсть разрушения («инстинкт смерти») занимает точно такое же место, как и страсть любви («жажда жизни», «сексуальность»). Однако общественность по-прежнему рассматривала фрейдизм исключительно в духе сложившегося стереотипа, ограничивая его рамками учения о либидо как основополагающей страсти человека⁴.

Эта ситуация изменилась лишь в середине 60-х гг. Одной из причин перемены был, вероятно, масштаб насилия и страх перед нарастающей угрозой войны во всем мире, который в это время достиг своего апогея. Этому способство-

вала также публикация нескольких книг, посвященных проблеме человеческой агрессивности, особенно книги Конрада Лоренца «Так называемое зло» (1963, 1963). Лоренц, известный ученый в области исследования поведения животных⁶ (особенно интересны его труды о рыбах и птицах), решил вступить в область, где обладал недостаточным опытом и недостаточной компетентностью, – в область *человеческого* поведения. Хотя его книга «Так называемое зло» была отвергнута большинством психологов и нейрофизиологов, она мгновенно стала бестселлером и произвела огромное впечатление на значительную часть весьма образованной публики, которая увидела в идеях Лоренца окончательное решение проблемы.

Большой успех идей Лоренца не в последнюю очередь был связан с предшествующей публикацией работ автора совершенно иного типа, Роберта Ардри, – «Адам пришел из Африки» (1966, 1967), «Адам и его территория» (1966, 1968). Ар-

⁶ Лоренц назвал исследование поведения животных «этологией», что кажется мне довольно странным; ведь само слово «этология» должно переводиться как «наука о поведении» (от греческого *ethos* – «поведение», «норма»), и потому вернее было бы назвать эту область знания «этологией животных». Тот факт, что Лоренц не придерживается подобной классификации, свидетельствует о его принципиальной установке, согласно которой человеческое поведение – это всего лишь одна из форм поведения животных вообще. Интересен и тот факт, что Джон Стюарт Милль задолго до Лоренца⁵ под термином «этология» понимал науку о характере, и если привести к одному знаменателю главную цель моей книги, то я бы сказал, что в ней рассматриваются проблемы этологии, но только в смысле не Лоренца, а Милля.

дри (талантливый сценарист, но не ученый) смешивает без разбору даты и факты о происхождении человека и связывает их с весьма тенденциозным мифом о врожденной человеческой агрессивности. За этой книгой последовали другие книги специалистов в области поведения животных, например «Голая обезьяна» (196, 1968) Десмонда Морриса и «Любовь и ненависть», принадлежащая перу одного из учеников К. Лоренца, Ирениусу Эйбл-Эйбесфельду (83, 1970).

Все эти произведения содержат, по сути дела, один и тот же *тезис*: агрессивное поведение людей, проявляющееся в войнах, преступлениях, личной драчливости и прочих типах деструктивного и садистского поведения, имеет филогенетические корни, оно запрограммировано в человеке, связано с врожденным инстинктом, который ждет своего места и часа и использует любой повод для своего выражения.

Возможно, успех Лоренца и его неоинстинктивизма связан не столько с безупречностью его аргументов, сколько с тем, что многие люди оказались предрасположены к восприятию такой аргументации. Что может быть приятнее для человека, испытывающего страх и понимающего свою беспомощность перед лицом неумолимого движения мира в сторону разрушения, что может быть желаннее, чем теория, заверяющая, что насилие коренится в нашей звериной натуре, в неодолимом инстинкте агрессивности и что самое лучшее для нас, как говорит Лоренц, – постараться понять, что сила и власть этого влечения являются закономерным резуль-

татом эволюции.

Эта теория о врожденной агрессивности очень легко превращается в идеологию, которая смягчает страх перед тем, что может случиться, и помогает рационализировать чувство беспомощности.

Есть еще и другие причины, в силу которых кое-кто отдает предпочтение упрощенному решению проблемы деструктивности в рамках инстинктивистской теории. Серьезное исследование причин деструктивности может поставить под сомнение основы крупнейших идеологических систем. Здесь невозможно избежать анализа проблемы иррациональности нашего общественного строя, здесь придется нарушить некоторые табу, скрывающиеся за священными понятиями «безопасность», «честь», «патриотизм» и т. д.

Достаточно провести серьезное исследование нашей социальной системы, чтобы сделать вывод о причинах роста деструктивности в обществе и подсказать средства для ее снижения. Инстинктивистская теория избавляет нас от нелегкой задачи такого глубокого анализа. Она успокаивает нас и заявляет, что даже если все мы должны погибнуть, то мы по меньшей мере можем утешать себя тем, что судьба наша обусловлена самой «природой» человека и что все идет именно так, как и должно было идти.

Принимая во внимание современное состояние психологической мысли, каждый, кто встречается с критикой в адрес лоренцовской теории агрессивности, ожидает, что она исхо-

дит со стороны бихевиоризма – другой теории, которая занимает доминирующее положение в психологии. В противоположность инстинктивизму, бихевиоризм не интересуют субъективные мотивы, силы, навязывающие человеку определенный способ поведения; бихевиористскую теорию интересуют не страсти или аффекты, а лишь тип поведения и социальные стимулы, формирующие это поведение.

Радикальная переориентация психологии с *аффектов* на *поведение* произошла в 20-е гг., и в последующий период многие психологи изгнали из своего научного обихода понятия страсти и эмоции, как не подлежащие научному анализу. *Поведение* само по себе, а не *человек*, ведущий себя так или иначе, стало предметом главного психологического направления. «Наука о душе» превратилась в науку о манипулировании поведением – животного и человека. Это развитие достигло своей вершины в необихевиоризме Скиннера, который представляет сегодня в университетах США общепризнанную психологическую теорию.

Нетрудно обнаружить причины такого поворота внутри психологической науки. Ученый, занимающийся изучением человека, более всех других исследователей подвержен воздействию социального климата. Это происходит оттого, что не только он сам, его образ мыслей, его интересы и поставленные им вопросы детерминированы обществом (как это бывает и в естественных науках), но также детерминирован обществом и сам предмет его исследования – человек. Каж-

дый раз, когда психолог говорит о человеке, моделью для него служат люди из его ближайшего окружения и прежде всего он сам. В современном индустриальном обществе люди ориентируются на разум, их чувства бедны, эмоции представляются им излишним балластом, причем так обстоят дела и у самого психолога, и у объектов его исследования. Поэтому бихевиористская теория их вполне удовлетворяет.

Противостояние инстинктивизма и бихевиоризма не способствовало прогрессу психологической науки. Каждая позиция была проявлением «одностороннего подхода», обе опирались на догматические принципы и требовали от исследователей приспособления либо к одной, либо к другой теории. Но разве в действительности существует лишь такая альтернатива в выборе теории – или инстинктивистская, или бихевиористская? Неужели непременно надо выбирать между Скиннером и Лоренцом?⁶ Разве нет других вариантов? В этой книге я отстаиваю мнение, что существует еще одна возможность, и пытаюсь выяснить, в чем она состоит.

Мы должны различать у человека *два совершенно разных вида агрессии*. Первый вид, общий и для человека, и для всех животных, – это филогенетически заложенный импульс к атаке (или к бегству) в ситуации, когда возникает угроза жизни. Эта оборонительная, «доброкачественная» агрессия служит делу выживания индивида и рода; она имеет биологические формы проявления и затухает, как только исчезает опасность. Другой вид представляет «злокачествен-

ная» агрессия – это *деструктивность* и *жестокость*, которые свойственны только человеку и практически отсутствуют у других млекопитающих; она не имеет филогенетической программы, не служит биологическому приспособлению и не имеет никакой цели. Большая часть прежних споров на данную тему была вызвана тем, что не существовало разграничения между этими двумя видами агрессии, которые различны и по происхождению, и по отличительным чертам.

Оборонительная агрессия действительно заложена в природе человека, хотя и в этом случае речь не идет о «врожденном»⁷ инстинкте, как принято было считать.

Когда Лоренц говорит об агрессии как способе защиты, он прав в своем предположении, что речь здесь идет об агрессивном инстинкте (хотя теория спонтанности влечений и их способности к саморазрядке не выдерживает критики). Но Лоренц идет еще дальше. Он применяет целый ряд утонченных логических конструкций, чтобы представить *любую* человеческую агрессию, включая жажду мучить и убивать, как следствие биологически данной агрессивности, которая, с его точки зрения, под влиянием целого ряда различных факторов из необходимой защитной превращается в деструктивную силу. Против этой гипотезы говорят многочисленные эмпирические данные, и потому она практически несостоя-

⁷ Лоренц тоже ограничивает понятие «врожденного», допуская, что и фактор обучения имеет определенное значение (163, 1965, с. 612–615).

тельна. Изучение поведения животных показывает, что, хотя млекопитающие – особенно приматы – демонстрируют изрядную степень оборонительной агрессии, они не являются ни мучителями, ни убийцами. Палеонтология, антропология и история дают нам многочисленные примеры, противоречащие инстинктивистской концепции, отстаивающей три основных принципа:

1. Человеческие группы отличаются друг от друга степенью своей деструктивности – этот факт можно объяснить, только исходя из допущения о врожденном характере жестокости и деструктивности.

2. Разные степени деструктивности могут быть связаны с другими психическими факторами и с различиями в соответствующих социальных структурах.

3. По мере цивилизационного прогресса степень деструктивности возрастает (а не наоборот).

На самом деле концепция врожденной деструктивности относится, скорее, к истории, чем к предыстории. Ведь если бы человек был наделен только биологически приспособительной агрессией, которая роднит его с его животными предками, то он был бы сравнительно миролюбивым существом; и если бы среди шимпанзе были психологи, то проблема агрессии вряд ли беспокоила бы их в такой мере, чтобы писать о ней целые книги.

Но в том-то и дело, что человек отличается от животных именно тем, что он убийца. Это единственный представи-

тель приматов, который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовлетворение. Это та самая биологически аномальная и филогенетически не запрограммированная «злокачественная» агрессия, которая представляет настоящую проблему и опасность для выживания человеческого рода; выяснение же сущности и условий возникновения такой деструктивной агрессии как раз и составляет главную цель этой книги.

Различение доброкачественно-оборонительной и злокачественно-деструктивной агрессии требует еще более основательной дифференциации двух категорий, а именно *инстинкта*⁸ и *характера*, точнее говоря, разграничения между естественными влечениями, которые коренятся в физиологических потребностях, и специфически человеческими страстями, которые коренятся в характере («характерологические, или человеческие, страсти»). Такая дифференциация между инстинктом и характером будет в дальнейшем подробно рассмотрена. Я попытаюсь показать, что характер – это «вторая натура» человека, замена для его слаборазвитых инстинктов; что человеческие страсти соответствуют *экзистенциальным потребностям* человека, а последние в свою очередь определяются специфическими условиями человеческого существования. Короче говоря, инстинкты –

⁸ Я пользуюсь здесь пока несколько устаревшим понятием «инстинкт». Позже я заменю его понятием «органические влечения».

это ответ на *физиологические потребности* человека, а страсти, произрастающие из характера (потребность в любви, нежности, свободе, разрушении, садизм, мазохизм, жажда собственности и власти), – все это ответ на экзистенциальные потребности, и они являются *специфически человеческими*. Хотя экзистенциальные потребности одинаковы для всех людей, индивиды и группы отличаются с точки зрения преобладающих страстей. К примеру, человек может быть движим любовью или страстью к разрушению, но в каждом случае он удовлетворяет одну из своих экзистенциальных потребностей – потребность в «воздействии» на кого-либо. А что возьмет верх в человеке – любовь или жажда разрушения, – в значительной мере зависит от социальных условий; эти условия влияют на биологически заданную экзистенциальную ситуацию и возникающие в связи с этим потребности (а не на безгранично изменчивую и трудноуловимую психику, как считают представители теории среды).

Когда же мы хотим узнать, что составляет условия человеческого существования, то возникают главные вопросы: в чем состоит сущность человека? Что делает человека человеком?

Вряд ли стоит доказывать, что обсуждение таких проблем в современном общественном сознании нельзя считать плодотворным. Эти проблемы по-прежнему считаются прерогативой философии и религии; а позитивистское направление рассматривает их в чисто субъективистском аспекте, игнорируя

всякую объективность. Поскольку мне не хочется, забегая вперед, приводить развернутую аргументацию, опирающуюся на факты, я пока ограничусь несколькими замечаниями. Что касается меня, то в отношении этих проблем я исхожу из биосоциальной точки зрения. Главной предпосылкой является следующее: поскольку специфические черты *Homo sapiens* могут быть определены с позиций анатомии, неврологии и физиологии, мы должны научиться определять представителя человеческого рода с позиций психологии.

В попытке дать определение человеческой сущности мы опираемся не на такие абстракции, какими оперирует спекулятивная метафизика в лице, например, Хайдеггера и Сартра⁷. Мы обращаемся к реальным условиям существования реального живого человека, так что понятие *сущность* каждого индивида совпадает с понятием *экзистенция* (существование) рода. Мы приходим к этой концепции путем эмпирического анализа анатомических и нейрофизиологических человеческих типов и их психических коррелятов (т. е. душевных состояний, соответствующих этим данным).

Мы заменяем фрейдовский физиологический принцип объяснения человеческих страстей на эволюционный социобиологический принцип историзма.

Лишь при опоре на такой теоретический фундамент становится возможным подробное обсуждение различных форм и личностных типов злокачественной агрессии, особенно таких, как *садизм* (страстное влечение к неограни-

ченной власти над другим живым существом) и *некрофилия* (страсть к разрушению жизни и привязанность ко всему мертвому, разложившемуся, чисто механическому). Понимание этих личностных типов стало доступно, как я думаю, благодаря анализу характеров нескольких персон, известных своим садизмом и деструктивностью, как, например, Сталин, Гиммлер, Гитлер.

Итак, мы наметили построение данного исследования, и теперь имеет смысл назвать некоторые посылки и выводы, с которыми читатель встретится в последующих главах.

1. Мы намерены заниматься не поведением, как таковым, в отрыве от действующего человека; нашим предметом являются человеческие стремления, независимо от того, выражаются они непосредственно наблюдаемым поведением или нет. В случае с феноменом агрессии это означает, что мы будем исследовать происхождение и интенсивность агрессивного импульса, а не агрессивное поведение в отрыве от его мотивации.

2. Эти импульсы могут быть осознанными, но в большинстве случаев они неосознанны.

3. Чаще всего они интегрированы в сравнительно постоянную структуру личности.

4. В широком смысле данное исследование опирается на психоаналитическую теорию. Отсюда следует, что мы будем прибегать к методу психоанализа, который вскрывает неосознанную внутреннюю реальность путем истолкования

доступных для наблюдения и внешне незначительных данных. Но выражение «психоанализ» употребляется у нас все же не в смысле классической теории Фрейда, а в смысле дальнейшего развития фрейдизма. На главных аспектах этого развития я позднее остановлюсь более подробно; здесь же следует лишь отметить, что мой психоанализ опирается не на теорию либидо и исходит не из инстинктивистских представлений, которые, по общему мнению, составляют ядро и сущность теории Фрейда.

Отождествление теории Фрейда с инстинктивизмом и без того весьма проблематично. Фрейд в действительности был первым современным психологом, который (в противоположность прежде распространенной традиции) исследовал все богатство человеческих страстей – любовь, ненависть, тщеславие, жадность, ревность и зависть⁹.

Возможно, этим объясняется то, что учение Фрейда нашло больше понимания и признания среди художников, чем среди психологов и психиатров, – по крайней мере до того момента, пока его метод не был взят на вооружение для психотерапевтического лечения все возрастающего потока больных. Что касается представителей искусства, то учение Фрейда воистину вызвало у них чувство, будто впервые по-

⁹ Большинство существовавших с древних времен психологических направлений (например, в буддистских текстах, у греков, средневековая и нововременная психология вплоть до Спинозы) считали человеческие страсти важнейшим объектом своих исследований, главным методом при этом было тщательное наблюдение (причем без эксперимента) в соединении с критическим мышлением.

явился ученый, который взял их кровную тему и постиг человеческую «душу» в самых ее сокровенных и значимых проявлениях.

Влияние Фрейда на художественное мышление явственнее всего обнаружилось в сюрреализме. В противоположность классическим формам искусства сюрреализм отказался от прежнего понимания «реальности», усмотрев в ней нечто неполноценное (нерелевантное); представителей сюрреализма перестали интересовать способы поведения – ценность мог представлять только субъективный опыт; поэтому совершенно естественно, что фрейдовское толкование сновидений стало одним из важнейших факторов развития этого направления.

Следует заметить, что Фрейд в формулировании своих идей неизбежно был ограничен рамками понятийного аппарата своей эпохи. Поскольку он никогда не собирался идти на разрыв с материализмом своих учителей, он вынужден был искать возможность объяснить человеческие страсти как выражение влечений. И это ему блестяще удалось благодаря теоретическому *tour de force*¹⁰: он расширил понятие сексуальности (либидо) настолько, что все человеческие страсти (за исключением инстинкта самосохранения) он представил как формы проявления одного-единственного инстинкта. Любовь, ненависть, жадность, тщеславие, зависть, ревность, жестокость и нежность – все они оказались

¹⁰ Трюк (фр.). – *Примеч. ред.*

наильно втиснуты в тесные рамки теоретической схемы, где получили обоснование либо как сублимация⁸, либо как реализация сексуальности (в виде оральной, анальной, генитальной, нарциссистской и других форм либидо).

Во второй период своего творчества Фрейд попытался вырваться за пределы этой схемы и создал новую теорию, которая демонстрировала значительный прогресс в понимании деструктивности. Он обнаружил, что жизнью правят не два эгоистических инстинкта – голод и сексуальность, а две главные страсти – любовь и деструктивность, и обе они служат делу физиологического выживания, хотя и не в том смысле, как физический и сексуальный голод. Но поскольку Фрейд все равно был связан цепями своих теоретических установок, он обозначил эти две страсти парными категориями «инстинкт жизни» и «инстинкт смерти», тем самым придав деструктивности столь серьезное значение, что она была признана одной из двух фундаментальных человеческих страстей.

В настоящем исследовании автор освобождает от принудительного брака с инстинктами такие важные человеческие страсти, как стремление к любви и свободе, тягу к разрушению, желание мучить, подчинять себе другого и господствовать над ним. Инстинкт – это чисто биологическая категория, в то время как страсти и влечения, коренящиеся в характере, – это биосоциальные, исторические категории¹¹. И

¹¹ Ср.: Ливингстон Р. Б. (162, 1967). Гл. 10 о структуре мозга.

хотя они не служат физическому выживанию, они обладают такой же (а иногда и большей) властью, как и инстинкты. Они составляют основу человеческой заинтересованности жизнью (способности к радости и восхищению); они являются в то же время материалом, из которого возникают не только мечты и сновидения, но и искусство и религия, мифы и сказания, литература и театр – короче, все, ради чего стоит жить (что делает жизнь достойной жизни). Человек не может существовать как простой «предмет», как игральная кость, выскакивающая из стакана; он сильно страдает, если его низводят до уровня автоматического устройства, способного лишь к приему пищи и размножению, даже если при этом ему гарантируется высшая степень безопасности. Человек нуждается в драматизме жизни и переживаниях; и если на высшем уровне своих достижений он не находит удовлетворения, то сам создает себе драму разрушения.

Нынешнее состояние психологической мысли поддерживает известную аксиому, согласно которой мотивация лишь тогда может быть сильной, когда она служит органическим потребностям, т. е. только инстинкты обладают достаточно интенсивной мотивационной силой. Если же отказаться от этой механистической, редукционистской точки зрения и обратиться к целостной концепции человека, то постепенно становится ясно, что человеческие страсти следует рассматривать в связи с их функцией в процессе жизни целостного организма. Их интенсивность коренится не в специфических

физиологических потребностях, а в потребности целостного организма жить и развиваться как в телесном, так и в духовном смысле.

Эти страсти важны для нас не *после* того, как удовлетворены наши физиологические потребности. Нет. Их корни уходят в самые основания человеческого бытия, они отнюдь не относятся к разряду роскоши, которую кто-то может себе позволить после того, как удовлетворит свои нормальные «низшие» потребности. Люди кончали жизнь самоубийством из-за того, что не могли удовлетворить свою любовную страсть, жажду власти, славы или мести. Случаи самоубийства по причине недостаточной сексуальной удовлетворенности практически не встречаются. Именно эти, не обусловленные инстинктами, страсти волнуют человека, зажигают его, делают жизнь полноценной; как сказал однажды Гольбах, французский философ-просветитель: «Человек, лишенный желаний и страстей, перестает быть человеком» (136, 1822). Их влияние и роль тем и обусловлены, что без них человек перестает быть человеком¹².

¹² Разумеется, это положение Гольбаха следует понимать в контексте философского мышления его эпохи. В философии буддизма или у Спинозы мы находим совершенно иные рассуждения о страстях: с их точки зрения дефиниция Гольбаха имеет отношение к большинству людей, хотя она в действительности диаметрально противоположна тому, что они считают целью человеческого развития. И чтобы пояснить эту разницу, я хотел бы проследить разграничения между «иррациональными страстями» (типа жадности или тщеславия) и «рациональными страстями» (любовь, заботливое отношение к каждому живому существу). Далее я рассмотрю эти вопросы более подробно. Но здесь важно для обсуждения не

Человеческие страсти превращают человека из маленького, незаметного существа в героя, в существо, которое вопреки всем преградам пытается придать смысл собственной жизни. Он хочет быть творцом самого себя, хочет превратить свое неполноценное бытие в полноценное, осмысленное и целеустремленное, позволяющее ему в максимальной мере достигнуть целостности своей личности. Человеческие страсти – это отнюдь не психологические комплексы, которые можно объяснить путем обращения к событиям и впечатлениям раннего детства. Их можно понять, только разорвав узкие рамки редуccionистской психологии и изучая их в живой реальности, т. е. подвергнув анализу *попытку человека придать смысл своей жизни; пережить самые острые, самые мощные потрясения бытия, которые только могут иметь место при данных условиях* (или которые он сам считает возможными). Страсти – это его религия, его культ и его ритуал, а он вынужден скрывать их даже от себя самого, особенно если он не получает поддержки группы. Ценой вымогательства и подкупа его могут заставить отказаться от своей «религии» и стать адептом нового культа – культа робота. Но такой психологический подход отбирает у человека его последнее достояние – способность быть не вещью, а человеком.

столько это различие, сколько идея о том, что жизнь, которая ориентирована исключительно на свое собственное самосохранение, не является человеческой.

В действительности все человеческие страсти, «хорошие» и «дурные», следует понимать не иначе как попытку человека преодолеть собственное банальное существование во времени и перейти в трансцендентное бытие. Изменение личности возможно лишь в том случае, если человеку удастся «обратиться» к новым способам осмысливания жизни: если он при этом мобилизует все свои жизненно важные устремления и страсти и тем самым познает гораздо более острые формы витальности и интеграции, чем те, что были ему присущи прежде. А до тех пор, пока этого не происходит, его можно обуздать, укротить, но нельзя исцелить. Несмотря на то что жизнеспособные страсти ведут к самоутверждению человека, усиливают его ощущение радости жизни и гораздо больше способствуют проявлению его целостности и витальности, чем жестокость и деструктивность, тем не менее и те и другие в равной мере участвуют в реальном человеческом существовании, потому анализ тех и других страстей необходим для решения проблемы человека. Ведь и садист – тоже человек и обладает человеческими признаками так же, как и святой. Его можно назвать больным человеком, калекой, уродом, который не смог найти другого способа реализовать данные ему от рождения человеческие качества, – и это будет правильно; его можно также считать человеком, который в поисках блага ступил на неверный путь¹³. Эти рассуждения

¹³ Английское слово *salvation* (благость, спасение) происходит от латинского корня *sal* – соль (в исп. яз. – *salud* – здоровье). Это значение возникло оттого,

вовсе не доказывают того, что жестокость и деструктивность – не суть пороки, они доказывают лишь то, что эти пороки свойственны человеку. Жестокость разрушает душу и тело и саму жизнь; она сокрушает не только жертву, но и самого мучителя. В этом пороке находит выражение парадокс: *в поисках своего смысла жизнь оборачивается против себя самой*. В этом пороке заключено единственное настоящее извращение. И понять его – вовсе не значит простить. Но пока мы не поняли, в чем его суть, мы не можем судить о том, какие факторы способствуют, а какие препятствуют росту деструктивности в обществе.

Такое понимание особенно важно в наше время, когда значительно снизился порог чувствительности к жестокости, когда на всех уровнях жизни заметны некрофильские тенденции: рост интереса нашего кибернетического индустриального общества ко всему мертвому, разложившемуся, механическому, автоматическому и т. д.

В литературе дух некрофилии впервые проявился в 1909 г. в «*Манифесте футуризма*» Ф. Т. Маринетти (170, 1909)⁹. Но в последние десятилетия эта тенденция стала заметна во многих сферах литературы и искусства, где объектом изображения все чаще становится механическое, безжизненное, деструктивное начало. Предвыборный лозунг

что соль защищает мясо от разложения; salvation – «оберегает человека от падения» (сохраняет его здоровье и благополучие). Именно в этом смысле (а вовсе не в теологическом) каждый человек нуждается в спасении.

фалангистов «Да здравствует смерть!» грозит превратиться в принцип жизни самого общества, в котором победа машин над природой стала символом прогресса, а сам живой человек становится всего лишь придатком машины.

В настоящей работе исследуется сущность некрофилии и социальные условия, способствующие формированию и проявлению этой страсти. В результате исследования я пришел к выводу, что в широком смысле избавление от этого порока возможно только ценой радикальных перемен в нашем общественном и политическом строе – таких перемен, которые вернут человеку его господствующую роль в обществе. Лозунг «Порядок и закон» (вместо «Жизнь и система»), призыв к применению более строгих мер наказания за преступления, равно как и одержимость некоторых «революционеров» жадой власти и разрушения, – это не что иное, как дополнительные примеры растущей тяги к некрофилии в современном мире. Мы должны создать такие условия, при которых высшей целью всех общественных устремлений станет всестороннее развитие человека – того самого несовершенного существа, которое, возникнув на определенной ступени развития природы, нуждается в совершенствовании и шлифовке. Подлинные свобода и независимость, а также искоренение любых форм угнетения смогут привести в действие такую силу, как любовь к жизни, а это и есть единственная сила, способная победить влечение к смерти.

Часть первая

Учения об инстинктах и влечениях; бихевиоризм; психоанализ

I. Представители инстинктивизма

Старшее поколение исследователей

Я не собираюсь представлять здесь читателю историю учений об инстинктах, ибо ее можно найти во многих учебниках¹⁴. Истоки этой истории надо искать в философских трудах прошлого, но современное мышление в целом опирается на труды Чарлза Дарвина и его эволюционную теорию.

Уильям Джеймс (140, 1890) и Уильям Макдугалл (181, 1913; 1932) составили пространные таблицы¹⁰, полагая, что каждый отдельный инстинкт или влечение обуславливает соответствующий тип поведения. Так, Джеймс выделяет инстинкт подражания, инстинкты вражды, сочувствия, охоты,

¹⁴ Особенно рекомендую по истории этой проблемы серьезную работу Р. Флетчера (94, 1968).

страха, соревнования, kleptomании, творчества, игры, зависти, общительности, скрытности, чистоты, скромности, любви, ревности – в целом этот список представляет странную смесь из общечеловеческих свойств и специфических социально обусловленных черт личности (180, 1967). И хотя сегодня перечни такого рода кажутся нам несколько наивными, все же следует отметить, что исследования инстинктов по сей день поражают обилием теоретических конструкций и высоким уровнем теоретического мышления. Джеймс, например, совершенно четко представлял себе, что самое элементарное инстинктивное действие может включать в себя элемент обучения, а Макдугалл вовсе не отрицал многообразного формирующего влияния опыта и культуры. Его учение об инстинктах перекидывает мостик к теории Фрейда. Как подчеркивает Флетчер, Макдугалл не отождествлял инстинкт с «механической моторикой» и не связывал его с двигательной реакцией. Для него инстинкт по сути своей представлял «склонность» к чему-либо, «*потребность*» в чем-то; и он допускал, что аффективно-коннативное ядро всякого влечения, «по-видимому, может существовать и функционировать в инстинктивной системе индивида сравнительно независимо от когнитивной и моторной ее части» (181, 1932).

Прежде чем мы обратимся к крупнейшим современным исследователям этой проблемы, каковыми являются Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц, попробуем отметить то, что

объединяет их с их предшественниками. Так, в концепции Макдугалла существовала некая механогидравлическая модель действия инстинктов, по типу шлюза, в котором ворота сдерживают энергию воды, а затем при определенных условиях она прорывается и образует «водопад» (181, 1913). Позднее он для образности сравнивал любой инстинкт с «газовым баллоном», из которого «постоянно высвобождается отравляющее вещество» (181, 1923).

Фрейд в своей теории либидо также следует некой гидравлической схеме. Либидо нарастает – напряженность усиливается – недовольство ширится; сексуальный акт дает разрядку, снимает напряжение до тех пор, пока оно вновь не начнет усиливаться и нарастать. Сходные идеи мы видим и у Лоренца; он, например, сравнивает реактивную энергию со «сжатым газом, который долго хранится в специальном резервуаре», или с жидкостью, которая заключена в сосуд, имеющий вентиль в днище, и т. д. (163, 1937, с. 270). Р. А. Хинде считает, что, несмотря на мелкие различия, все эти теоретические модели имеют одну общую идею – идею субстанции, обладающей способностью стимулировать поведение. «Эта субстанция заключена в некий сосуд, а затем она выпускается, воздействует на субъект, заряжает его энергией, от которой тот приходит в действие» (133, 1960, с. 473).

Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц

Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда

Главный прогресс во взглядах Фрейда по сравнению с его предшественниками, особенно Макдугаллом, состоял в том, что он свел все «влечения» к двум категориям – инстинкту самосохранения и инстинкту сексуальности. Поэтому теорию Фрейда можно считать последней ступенькой в истории развития учения об инстинктах. Но я хочу еще раз повторить мою мысль о том, что одновременно теория Фрейда была и первой ступенькой к преодолению прежних теоретических построений, хотя сам Фрейд этого и не сознавал. В дальнейшем я буду рассматривать только фрейдовскую концепцию агрессии, исходя из того, что его теория либидо многим читателям уже хорошо известна либо они могут познакомиться с ней по другим источникам, а лучше всего по первоисточнику, каковым являются лекции Фрейда под названием «Введение в психоанализ» (100, 1916–1917; 1933а).

Фрейд уделял феномену агрессии сравнительно мало внимания, считая сексуальность (либидо) и инстинкт самосохранения главными и преобладающими силами в человеке. Однако в 20-е гг. он полностью отказывается от этого пред-

ставления. Уже в работе «Я и Оно» (100, 1923b), а также во всех последующих трудах он выдвигает новую дихотомическую пару: влечение к жизни (эрос) и влечение к смерти. Сам он описывал новую стадию своего теоретизирования следующим образом: «Размышляя о происхождении жизни и о развитии разных биологических систем, я пришел к выводу, что наряду с жаждой жизни (инстинктом живой субстанции к сохранению и приумножению) должна существовать и противоположная страсть – страсть к разложению живой массы, к превращению живого в первоначальное неорганическое состояние. Т. е. наряду с эросом должен существовать инстинкт смерти» (100, 1930а, с. 477).

Инстинкт смерти направлен против самого живого организма и потому является инстинктом либо саморазрушения, либо разрушения другого индивида (в случае направленности вовне). Если инстинкт смерти оказывается связан с сексуальностью, то он находит выражение в формах садизма или мазохизма. И хотя Фрейд неоднократно подчеркивал, что интенсивность этого инстинкта можно редуцировать (100, 1927с), основная его теоретическая посылка гласит: человек одержим одной лишь страстью – жаждой разрушить либо себя, либо других людей, и этой трагической альтернативы ему вряд ли удастся избежать. Из гипотезы о влечении к смерти следует вывод, что агрессивность по сути своей является не реакцией на раздражение, а представляет собой некий постоянно присутствующий в организме по-

движный импульс, обусловленный самой конституцией человеческого существа, самой природой человека.

Большинство психоаналитиков, взявших на вооружение теорию Фрейда, воздержались от восприятия той части его учения, которая говорит об инстинкте смерти, возможно, потому, что она выходит за рамки механистического биологического мышления, согласно которому все «биологическое» автоматически отождествляется с физиологией инстинктов. И все же они не отбросили полностью новые идеи Фрейда, а пошли на компромисс, признав, что «жажда разрушения» существует как противоположность сексуальности. Это дало им возможность применить новый подход Фрейда к понятию агрессии и в то же время «не заметить» кардинальных изменений в его мировоззрении и не подпасть под его влияние.

Фрейд сделал очень важный шаг вперед от механического физиологизма к биологическому воззрению на организм как целое и к анализу биологических предпосылок феноменов любви и ненависти. Однако его теория страдает серьезным недостатком: она опирается на чисто абстрактные спекулятивные рассуждения и не имеет убедительных *эмпирических доказательств*. Вдобавок к этому, хотя Фрейд и предпринял блистательную попытку объяснить с помощью своей новой теории *человеческое поведение*, его гипотеза оказалась непригодной для объяснения поведения животных. Для него инстинкт смерти – это биологическая сила, действующая в

любом живом организме, а это значит, что и животные должны совершать действия, направленные либо на саморазрушение, либо на разрушение других особей. Из этого следует, что у менее агрессивных животных мы должны были бы обнаруживать более частые болезни и более раннюю смертность (и наоборот); но эта гипотеза, разумеется, не имеет эмпирических доказательств.

В следующей главе я постараюсь доказать, что агрессия и деструктивность не являются ни биологически данными, ни спонтанно возникающими импульсами. Здесь же следует подчеркнуть, что Фрейд не столько прояснил, сколько завуалировал феномен агрессии, распространив это понятие на совершенно разные типы агрессии, и таким образом свел все эти типы к *одному-единственному* инстинкту. И поскольку Фрейд наверняка не был приверженцем бихевиоризма, мы можем предположить, что причиной тому была его склонность к дуалистическому противопоставлению двух основополагающих сил в человеке.

При разработке этой дихотомической схемы сначала возникла пара, состоящая из либидо и стремления к самосохранению; позднее эта пара трансформировалась в противопоставление инстинкта жизни инстинкту смерти. Элегантность этой концепции потребовала от Фрейда определенной жертвы: ему пришлось расположить все человеческие страсти либо на одном, либо на другом из двух полюсов и таким образом соединить вместе те черты, которые в реальности не

имеют ничего общего друг с другом.

Теория агрессии Конрада Лоренца

Хотя Фрейдова теория агрессии имела и по сей день имеет определенное влияние, она все же оказалась слишком трудной, многослойной и не получила особой популярности у широкого читателя. Зато книга Конрада Лоренца «Так называемое зло» (1963, 1963) сразу после выхода в свет стала одним из бестселлеров в области социальной психологии.

Причины такой популярности очевидны. Прежде всего «Так называемое зло» написана таким же простым и ясным языком, как и более ранняя, очаровательная книга Лоренца «Кольцо царя Соломона» (1963, 1949). Легкостью изложения эта книга выгодно отличалась от всех предыдущих научных исследований и книг самого Лоренца, не говоря уже о тяжеловесных рассуждениях Фрейда об инстинкте смерти. Кроме того, сегодня его идеи привлекают многих людей, которые предпочитают верить, что наша страсть к насилию (к ядерному противостоянию и т. д.) обусловлена биологическими факторами, не подлежащими нашему контролю, чем открыть глаза и осознать, что виною всему мы сами, вернее, созданные нами социальные, политические и экономические обстоятельства.

Согласно Лоренцу¹⁵, человеческая агрессивность (точно так же, как и влечения у Фрейда) питается из постоянно-го энергетического источника и не обязательно является результатом *реакции* на некое раздражение.

Лоренц разделяет точку зрения, согласно которой специфическая энергия, необходимая для инстинктивных действий, постоянно накапливается в нервных центрах, и, когда накапливается достаточное количество этой энергии, может произойти *взрыв*, даже при полном отсутствии раздражителя. Правда, и люди и животные обычно находят возбудитель раздражения, чтобы сорвать на нем зло и тем самым освободиться от энергетической напряженности. Им нет нужды пассивно дожидаться подходящего раздражителя, они сами ищут его и даже создают соответствующие ситуации. Вслед за В. Крэйгом Лоренц называет это «поведенческой активностью». Человек создает политические партии, говорит Лоренц, чтобы обеспечить себе ситуации борьбы, в которых он может разрядиться (освободиться от излишков накопившейся энергии); но сами политические партии не являются причиной агрессии. Однако в тех случаях, когда не удастся найти или создать внешний раздражитель, энергия накопив-

¹⁵ Подробный и широко известный (почти классический) анализ и критику теории Лоренца (и Тинбергена) можно найти у Д. С. Лермана (160, 1953); «Так называемое зло» критически анализируется также Л. Берковичем (30, 1967) и К. Боулдингом (40, 1967); интерес представляет также полемика Н. Тинбергена с Лоренцем (163, 1968), а также сборник критических статей под ред. М. Ф. А. Монтегю (192, 1968а) и короткая, но острая работа Л. Айзенберга (85, 1972).

шейся инстинктивной агрессивности достигает таких размеров, что сразу происходит взрыв, и инстинкт «срабатывает» in vacuo¹⁶. «Даже самый крайний случай бессмысленного инстинктивного поведения, внешне ничем не обусловленного и не имеющего никакого объекта (своего рода бег на месте), дает нам картину таких действий, которые фотографически точно совпадают с биологически целесообразными действиями нормального живого организма, – и это является важным доказательством того, что в инстинктивных действиях координация движений до мельчайших деталей запрограммирована генетически» (163, 1937, с. 274)¹⁷.

Итак, для Лоренца агрессия, во-первых, не является реакцией на внешние раздражители, а представляет собой собственное внутреннее напряжение, которое требует разрядки и находит выражение, невзирая на то, есть для этого подходящий внешний раздражитель или нет. «Главная опасность инстинктов в их спонтанности» (163, 1963, с. 73. Курсив мой. – Э. Ф.). Модель агрессии К. Лоренца, как и либидозную модель Фрейда, можно с полным правом назвать гидравлической моделью по аналогии с давлением воды, зажатой плотиной в закрытом водоеме (ср.: 163, 1937, с. 270).

Можно сказать, что теория Лоренца покоится на двух

¹⁶ Впустую; буквально – «в вакууме» (лат.). – Примеч. ред.

¹⁷ Под влиянием критики различных американских психологов и Н. Тинбергена Лоренц позднее внес поправку в эту свою посылку и признал определенную роль обучения (163, 1965, с. 612–616).

фундаментальных посылах: первая – это гидравлическая модель агрессии, которая указывает на *механизм* возникновения агрессии. Вторая – идея, что агрессивность служит делу самой жизни, способствует выживанию индивида и всего вида. В общем и целом Лоренц исходит из предположения, что внутривидовая агрессия (агрессия по отношению к членам своего же вида) является функцией, служащей выживанию самого вида. Лоренц утверждает, что агрессивность играет именно такую роль, распределяя отдельных представителей одного вида на соответствующем жизненном пространстве, обеспечивая селекцию «лучших производителей» и защиту материнских особей, а также устанавливая определенную социальную иерархию (163, 1964). Причем агрессивность может гораздо успешнее выполнять функцию сохранения вида, чем устрашения врага, которое в процессе эволюции превратилось в своего рода форму поведения, состоящую из «символических и ритуальных» угроз, которые никого не страшат и не наносят виду ни малейшего ущерба.

Однако дальше Лоренц утверждает, что инстинкт, служащий у животных сохранению вида, у человека «перерастает в гротесковую и бессмысленную форму» и «выбивает его из колеи». Агрессивность из помощника превращается в угрозу выживанию.

Лоренц, по-видимому, и сам не был полностью удовлетворен подобным истолкованием человеческой агрессивности; ему хотелось дополнить это объяснение аргументами, выхо-

дьящими за рамки этологии. Он пишет:

Прежде всего надо отметить, что губительная энергия агрессивного инстинкта досталась человеку *по наследству*, а сегодня она понижает его до мозга костей; скорее всего, эта агрессивность была обусловлена процессом внутривидового отбора, который длился многие тысячелетия (в частности, прошел через весь раннекаменный век) и оказал серьезное влияние на наших предков. Когда люди достигли такого уровня, что сумели благодаря своему оружию, одежде и социальной организации избавиться в какой-то мере от внешней угрозы погибнуть от голода, холода или диких зверей, т. е. когда эти факторы перестали выполнять свою селективную функцию, тогда, вероятно, вступила в свои права злая и жестокая внутривидовая селекция. Наиболее значимым фактором стала война между враждующими ордами людей, живущими по соседству. Война стала главной причиной формирования у людей так называемых «воинских доблестей», которые и по сей день, к сожалению, для многих людей представляют идеал, достойный подражания (163, 1963, с. 67).

Такое представление о постоянной войне между «дики-ми» охотниками и собирателями плодов, земледельцами с момента появления «современного человека» (где-то около 40–50 тысячелетий до нашей эры) – одно из распространенных клише, которое К. Лоренц берет на вооружение, во-все не принимая во внимание исследования, опровергающие

этот стереотип¹⁸.

Предположение Лоренца о 40 тысячах лет организованной войны – это не что иное, как старая формула Гоббса о войне как естественном состоянии человека¹¹; у Лоренца этот аргумент служит для доказательства врожденной агрессивности человека. Из этого предположения Лоренца выводится силлогизм: человек *является* агрессивным, ибо он таковым был, а агрессивным он *был*, так как таков он *есть*.

Даже если тезис Лоренца о постоянной войне всех против всех действителен по отношению к раннему каменному веку, то все равно его генетические умозаключения вызывают сомнение. Если какая-то существенная черта приобретает преимущество при селекции, то это должно иметь серьезные основания и многократно повториться в нескольких поколениях носителей данной черты. А если учесть, что агрессивные индивиды раньше других погибают в войнах, то очень сомнительно, что распространенность какой-либо существенной черты можно связывать с процессом естественного отбора. На самом деле частота такого наследственного фактора должна была бы скорее убывать, если рассматривать высокие потери в войне как «негативную селекцию»¹⁹. И действительно, плотность населения в те времена была крайне низ-

¹⁸ Вопрос об агрессивности у собирателей плодов и охотников подробно рассмотрен в главе VIII.

¹⁹ В этом вопросе я благодарен профессору Курту Хиршгорну за его указания на генетическую сторону проблемы.

кой и многим племенам после полного формирования *Homo sapiens* вряд ли было нужно соперничать и сражаться друг с другом за пищу и место под солнцем.

Лоренц соединил в своей теории два элемента. Первый состоит в утверждении, что звери, как и люди, наделены врожденной агрессивностью, которая способствует выживанию вида и особи. Далее я еще покажу, опираясь на нейрофизиологические данные, что оборонительная, защитная агрессивность не спонтанна и не постоянна, а представляет собой реакцию на угрозу витальным интересам соответствующего живого существа. Второй элемент (тезис о гидравлическом характере накопившейся агрессии) помогает Лоренцу объяснить жестокие и разрушительные импульсы человека; правда, для доказательства этого предположения у него не так уж много аргументов и фактов. Как способствующая жизни, так и разрушительная агрессия подводятся под одну категорию, и единственное, что их объединяет, – это слово «агрессия». Ясность в проблему, в противоположность Лоренцу, внес Тинберген: «Человек, с одной стороны, сродни многим видам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего собственного вида. Но с другой стороны, среди многих тысяч биологических видов, борющихся друг с другом, только человек ведет разрушительную борьбу... Человек уникален тем, что он составляет вид массовых убийц; это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так?» (266, 1968, с.

Фрейд и Лоренц: сходство и различия

Отношения между теориями Фрейда и Лоренца довольно сложные. Объединяет их гидравлическая концепция агрессивности, хотя причины последней они объясняют по-разному. В других отношениях их взгляды кажутся порой диаметрально противоположными. Фрейд выдвигал гипотезу об инстинкте разрушения, а Лоренц эту гипотезу на биологическом уровне считает совершенно неприемлемой. Ибо, с его точки зрения, агрессивный инстинкт служит делу жизни, в то время как инстинкт у Фрейда находится «на службе у смерти».

Правда, это расхождение в значительной мере утрачивает свою роль, когда Лоренц говорит об изменениях первоначально оборонительной и жизнеспособной агрессии. С помощью сложных и порой довольно сомнительных конструкций Лоренц пытается обосновать и упрочить свою гипотезу о том, что оборонительная агрессия у человека превращается в постоянно действующую и саморазвивающуюся интенцию, которая заставляет его искать и находить условия для разрядки или же ведет к взрыву, если нет возможности найти подходящий раздражитель. Отсюда следует, что, даже если в обществе с точки зрения социально-экономического устройства отсутствуют подходящие возбудители серьезных

проявлений агрессии, все равно давление самого инстинкта столь сильно, что члены общества вынуждены изменять условия или же – если они к этому не готовы – дело доходит до совершенно беспричинных взрывов агрессивности... Исходя из этого, Лоренц приходит к выводу, что человека от рождения ведет по жизни жажда разрушения. Т. е. практические последствия этого вывода совпадают с идеями Фрейда. Правда, у Фрейда страсть к разрушению противостоит столь же сильному влечению эроса (сексуальность и жизнь вообще), в то время как для Лоренца любовь является результатом агрессивных влечений.

Фрейд и Лоренц совпадают в одном: плохо, если агрессия не может воплотиться в действие. Фрейд в ранний период своего творчества выдвинул идею о том, что вытеснение сексуальных порывов может привести к психической болезни¹²; позднее он подвел то же самое основание и под влечение к смерти и заявил, что вытеснение агрессии, направленной вовне, ведет к болезни. Лоренц констатирует, что «вообще каждый представитель современной цивилизации страдает от недостаточной возможности проявления инстинктивно-агрессивных действий» (1963, с. 363). Оба исследователя разными путями приходят к одному и тому же представлению о человеке как о существе с постоянно возникающей агрессивно-деструктивной энергией, которая не может долго находиться под контролем. И если у животных энергия такого рода – всего лишь «так называемое зло», то

у человека она превращается в настоящее зло, хотя, по Лоренцу, и не имеет злокачественных корней.

«Доказательство» по аналогии

Черты сходства в теориях агрессии у Фрейда и Лоренца не могут скрыть фундаментальных расхождений между ними. Фрейд изучал человека. Он был любознательным и зорким наблюдателем фактического поведения людей, а также различных проявлений бессознательного. Его теория о влечении к смерти может казаться ошибочной или недостаточно завершенной и доказанной, но это никак не меняет того факта, что Фрейд разрабатывал эту теорию в процессе постоянного изучения реальных людей. В противоположность Фрейду Лоренц изучал животных, особенно низших, и в этой области был, без сомнения, в высшей степени компетентен. Однако его понимание человека не выходит за рамки знаний среднего буржуа. Он не расширял свой кругозор в этой области ни систематическими наблюдениями, ни изучением серьезной литературы²⁰. Он наивно полагал, что наблюдения за самим собой или за своими близкими знакомыми можно

²⁰ Во всяком случае, в тот период, когда Лоренц писал свой труд «Так называемое зло», он еще вообще не читал Фрейда в подлиннике. Он нигде напрямую не ссылается на его работы, а когда упоминает его, то опирается при этом на Фрейда в интерпретации своих друзей-психоаналитиков. К сожалению, они не во всем и не всегда были правы, или же Лоренц не все у них понял правильно.

перенести на всех остальных людей. Но самый главный его метод – это отнюдь не самонаблюдение, а метод заключения по аналогии на материале сравнения поведения определенных животных и поведения человека.

С научной точки зрения подобные аналогии вообще не являются доказательством; они впечатляют и нравятся людям, которые любят животных. Многоплановый антропоморфизм Лоренца идет рука об руку с этими аналогиями. Однако они создают приятную иллюзию, будто человек понимает то, что чувствует животное, – и в этой иллюзии состоит главный секрет их популярности. Спрашивается, кто же не мечтал научиться говорить с рыбами, птицами и домашними животными?

Поскольку Лоренц не может напрямую доказать свою гипотезу в отношении человека и других приматов, он выдвигает несколько аргументов, которые должны усилить его позицию. Все это он проделывает в основном методом *аналогии*; он обнаруживает черты сходства между человеческим поведением и поведением изучаемых им животных и делает вывод, что способ поведения в обоих случаях обусловлен одной и той же причиной. Многие психологи критиковали этот метод. Знаменитый коллега Лоренца Н. Тинберген предупреждал о ряде опасностей, «подстерегающих исследователя, который рассуждает, опираясь на *аналогии*; особенно если для сравнения берутся физиологические явления из низшей ступени эволюции, если выводы о простей-

ших формах поведения организмов более низкого уровня нервной организации используются для обоснования теорий о механизмах поведения высокоразвитых и сложноорганизованных структур».

Я мог бы для иллюстрации привести несколько примеров лоренцовских «доказательств по аналогии»²¹. Лоренц рассказывает о своих наблюдениях над циклидами и бразильскими перламутровыми рыбами и утверждает, что рыба не нападает на свою женскую особь в том случае, если может разрядить свой здоровый гнев на особи своего пола («перераспределенная агрессия»²²). И он сопровождает этот факт следующим комментарием:

Аналогичные ситуации встречаются у людей. В старое доброе время, когда еще существовала «Дунайская империя»¹³ и еще имело место понятие и реальность «служанки», я наблюдал в доме своей старой тетушки следующую ситуацию. У нее прислуга не задерживалась больше чем 8–10 месяцев. Каждую новую служанку она регулярно хвалила, восхищалась ею и клялась, что наконец-то нашла настоящую жемчужину. В последующие месяцы ее оценки

²¹ Уже в 1940 г. Лоренц обнаружил склонность к сравнению биологических и социальных феноменов (что в целом совершенно недопустимо). Это проявилось самым ярким образом в его работе (163, 1940, с. 74–76), где он доказывал, что в тот момент, когда принципы естественного отбора перестают служить биологическим потребностям расы, им на смену должны прийти государственные законы.

²² Этот термин принадлежит Н. Тинбергену.

становились более трезвыми, она сначала видела мелкие недостатки, затем переходила к упрекам, а в конце названного срока видела в несчастной девушке одни только отрицательные и достойные ненависти черты, и в конце концов девушку, как правило, увольняли раньше срока и с большим скандалом. После такой разрядки старая дама готова была в следующей служанке видеть чистого ангела.

Я далек от мысли посмеяться над моей любимой и давно почившей тетушкой. Ибо совершенно идентичные процессы происходят с серьезными и в высшей степени владеющими собой мужчинами (не исключая и меня самого). Пример тому – лагерь военнопленных. Так называемая полярная болезнь (или экспедиционная холера) охватывает главным образом малые группы мужчин, если последние вынуждены обстоятельствами быть рядом и лишены возможности общаться с чужими людьми, не имеющими отношения к кругу друзей. Из сказанного становится ясно, что накопление агрессивности растет и становится опаснее по мере того, как члены группы узнают друг друга, начинают лучше понимать и любить... Могу заверить вас, что в такой ситуации заложены всевозможные возбудители внутривидового агрессивного поведения. Субъективно это выражается в том, что на какое-либо малейшее проявление своего лучшего друга (как он дышит, сопит и т. д.) человек может выдать такую реакцию, как если бы он получил пощечину от пьяного хулигана (163, 1963, с. 87–89).

Похоже, что Лоренцу вовсе не приходит в голову, что личный опыт его тетушки, его товарищей по плену и его собственные впечатления вовсе не обязательно доказывают общезначимость подобных реакций. Даже при объяснении поведения своей тетушки Лоренц, похоже, не думает, что вместо гидравлической интерпретации (согласно которой агрессивный потенциал нарастал, достигая своего апогея и нуждаясь в разрядке каждые восемь месяцев) можно было использовать более сложную психологическую концепцию для объяснения такого поведения.

С точки зрения психоанализа следует предположить, что тетушка была весьма нарциссической личностью, склонной использовать других людей в своих интересах. Она требовала от своей прислуги абсолютной «преданности», самоотдачи и отсутствия собственных интересов, требовала, чтобы та довольствовалась ролью твари и видела счастье в том, чтобы служить своей хозяйке. В каждой следующей служанке она видела ту, которая наконец-то будет соответствовать ее ожиданиям. После короткого «медового месяца», пока хозяйка еще не видела, что новая служанка – опять «не та, что требуется» (может быть, ввиду своих фантазий, а быть может, еще и оттого, что девушка вначале особенно старалась угодить хозяйке), вдруг тетушка просыпалась и обнаруживала, что девушка не готова играть придуманную для нее роль. Подобный процесс пробуждения тоже требует некоторого времени. А затем тетушку посещали резкое разочарование и гнев,

которые наблюдаются в каждом нарциссическом эксплуататоре в случае фрустрации¹⁴. Поскольку она не осознает, что причина ее гнева в ее невозможных притязаниях, она рационализирует свое разочарование и возлагает вину на служанку. Поскольку она не может отказаться от исполнения своего желания, она выгоняет девушку и надеется, что новая будет «как раз та, что надо». И тот же самый механизм продолжает работать до самой ее смерти либо до того момента, пока больше никто не придет к ней работать. Подобное развитие событий можно встретить не только в отношениях между рабочим и работодателем. Нередко подобным образом развиваются и семейные конфликты. И поскольку служанку выгнать легче, чем развестись, то нередко дело доходит до пожизненных сражений, в которых стороны постоянно пытаются наказать друг друга за оскорбления, которые накапливаются, и несть им числа. Речь здесь идет о специфической проблеме собственно человеческого характера, а именно о нарциссически-эксплуаторской личности, но вовсе не о проблеме накопившейся энергии инстинктов.

В главе «О типах поведения, аналогичных моральному» Лоренц выдвигает следующий тезис: «И все же тот, кто действительно улавливает эти связи, не может удержаться от нового удивления, когда видит на деле психологические механизмы, которые навязывают животным самоотверженное поведение, направленное на благо других, поведение, подобное тому, что нам, людям, предписано нравственным зако-

ном» (163, 1963, с. 164).

Но как обнаружить у животного «самоотверженное» поведение? То, что описывает Лоренц, есть не что иное, как инстинктивно детерминированная модель поведения. Выражение «самоотверженный» взято вообще из человеческой психологии и имеет отношение к тому факту, что человеческое существо может забыть про самого себя (вернее было бы сказать: про свое *Я*), когда выше всего оказывается желание помочь другим. Но разве у гуся, рыбы или собаки есть свое *Я*, которое он (она) может забыть? Разве самый факт человеческого самосознания не зависит от нейрофизиологических структур, имеющих место только в человеческом мозгу? Разве само понятие самосознания не является жестко связанным именно с человеческим способом отношения к миру (хотя и имеет в основе своей определенные нейрофизиологические процессы в мозгу)? И такие вопросы возникают многократно при чтении Лоренца, когда он употребляет для описания поведения животных такие категории, как «жестокость», «грусть», «смущение».

К важнейшим и интереснейшим этологическим находкам Лоренца относится та «связь», которая возникает между животными (на примере серых гусей) как реакция на внешнюю угрозу для всей группы. Однако его рассуждения по аналогии в отношении человеческого поведения иногда просто обескураживают: «Дискриминационная агрессивность по отношению к чужим и союз с членами своей группы

возрастают параллельно. Противопоставление “мы” и “они” создает резко отличающиеся друг от друга разнополярные общности. Перед лицом современного Китая даже США и СССР временно объединяются в одну категорию “мы”¹⁵. Аналогичный феномен (впрочем, с некоторыми элементами борьбы) можно наблюдать у серых гусей во время церемонии победного гоготания» (163, 1966, с. 189).

Лоренц идет в своих аналогиях между поведением животных и человека еще дальше, что особенно ярко проявляется в его рассуждениях о проблеме человеческой любви и ненависти. Вот каковы его представления об этом предмете: «Личную привязанность, индивидуальную дружбу можно встретить только у животных с высокоразвитой внутривидовой агрессивностью, и эта привязанность тем сильнее, чем больше агрессивности у данного вида» (163, 1963, с. 326). Ну что же, предположим, что Лоренц действительно наблюдал нечто подобное. Однако в этом месте он вдруг совершает скачок в область человеческой психологии. После того как он констатирует, что внутривидовая агрессивность на миллионы лет старше, чем личная дружба и любовь, он делает из этого следующий вывод: *«Не существует любви... без агрессивности»* (163, 1963, с. 327. Курсив мой. – Э. Ф.).

Это обобщение, касающееся человеческой любви, не только не подтвержденное, но и многократно опровергаемое фактами, Лоренц дополняет суждениями о «безобразном младшем брате большой любви» по имени «ненависть»:

«Она ведет себя иначе, чем обычная агрессивность, она, как и любовь, направлена на индивида (вернее, против него), и, вероятно, ее (любви) *наличие является предпосылкой для ненависти*» (163, 1963, с. 328. Курсив мой. – Э. Ф.).

Известно утверждение: от любви до ненависти – один шаг. Однако это не совсем верно сказано; на самом деле не любовь знает такое превращение, а разрушенный нарциссизм влюбленных, т. е., точнее говоря, причиной ненависти является нелюбовь (отсутствие любви). Утверждать, что ненависть имеет место лишь там, где была любовь, – это значит привести элемент истины к полному абсурду. Угнетенный ненавидит своего угнетателя, мать – убийцу своего ребенка, а жертва пытки ненавидит своего мучителя. Так что же, эта ненависть связана с тем, что прежде там была любовь или, может быть, она все еще присутствует?

Следующее умозаключение по аналогии связано с феноменом «опьянения борьбой». Речь идет об «особой форме коллективной агрессии, которая явно отличается от простейших форм индивидуальной агрессии» (163, 1966, с. 268). Это «святой обычай», опирающийся на глубокие, генетически обусловленные модели поведения. Лоренц заверяет, что, «вне всякого сомнения, бойцовская страсть человека развилась из коллективной потребности наших дочеловеческих предков в самообороне» (163, 1966, с. 270). Речь идет о коллективной радости, разделяемой всеми членами группы при виде поверженного врага.

Каждый нормально чувствующий мужчина знает это особое субъективное переживание. Сначала это некое волнение, предчувствие победы, затем зрелище бегущего врага и «святое» восхищение при виде отступающей армии. Здесь наступает момент, когда человек забывает все и вся, он чувствует себя выше всех повседневных проблем, он слышит лишь один призыв, он готов идти на этот зов и выполнить святой долг воителя, а ведет его воля к победе. Любые препятствия, стоящие на этом пути, утрачивают свое значение, в том числе инстинктивный страх нанести ущерб своим собратьям, убить своего соплеменника. Разум умолкает, как и способность к критике, и все другие чувства, кроме коллективного воодушевления борьбой, отходят на задний план... короче, великолепно звучит украинская пословица: «Когда развеивается знамя, разум вылетает в трубу!» (163, 1963, с. 385).

Лоренц выражает «обоснованную надежду», что «первородный инстинкт можно взять под контроль моральной ответственности, однако это может быть достигнуто лишь в том случае, если мы смело признаемся, что опьянение борьбой – это генетическая инстинктивная реакция организма, автоматически отключающая все другие центры...» (163, 1966, с. 271).

То, как Лоренц описывает нормальное человеческое поведение, совершенно обескураживает. Разумеется, бывает, что «человек чувствует себя правым, даже совершая жесто-

кий поступок», или, придерживаясь психологической терминологии, многие охотно совершают дурные поступки, не испытывая ни малейших угрызений совести. Однако с научных позиций недопустимо бездоказательно объявлять воинственность универсальным врожденным свойством «человеческой натуры», а жестокости, совершаемые во время войны, объяснять первородным инстинктом борьбы на базе весьма сомнительной аналогии с рыбами и птицами.

Фактически индивиды и группы сильно отличаются друг от друга в проявлениях жестокости, даже когда их натравливают на представителей другой группы. Во время Первой мировой войны британская пропаганда распространяла легенды о зверствах немецких солдат по отношению к бельгийским младенцам, ибо на самом деле было мало фактов жестокости и недоставало «горючего» для разжигания ненависти к врагу. Соответственно и у немцев было мало сообщений о жестокостях противника по той простой причине, что их и впрямь было мало. Даже во время Второй мировой войны, несмотря на общий рост жестокости в мире, зверские поступки в целом ограничивались особой средой – нацистами. В среднем регулярные армейские части с обеих сторон не совершали военных преступлений в тех масштабах, которые следовало бы ожидать согласно теории Лоренца. То, что он называет зверским поведением, связано с садистским, вампирским типом личности. Его «опьянение борьбой» – не что иное, как эмоционально примитивный национализм. Утвер-

ждать, что готовность совершать жестокости, «когда развеивается знамя», и объявлять эту готовность врожденной чертой человека – это классический прием защиты при обвинении в нарушении принципов Женевской конвенции. И хотя я совершенно уверен, что сам Лоренц не имел намерений защищать жестокость, все равно его теоретический аргумент оказывает практическую услугу такой защите. А его метод мешает пониманию структуры личности, индивидуальных и общественных условий и причин возникновения и развития преступности.

Лоренц идет еще дальше, утверждая, что без бойцовского азарта (этого «автономного человеческого инстинкта») «невозможны ни наука, ни искусство, ни любые другие грандиозные человеческие свершения» (163, 1963, с. 388). Как это возможно? Ведь сам Лоренц называет главным условием проявления этого инстинкта «наличие внешней опасности, объединяющей людей в группу» (163, 1966, с. 272). Разве есть хоть один пример, подтверждающий, что искусство и наука процветают лишь там, где существует угроза нападения извне?

Объяснение Лоренцом причин любви к ближнему есть также смесь инстинктивизма с утилитаризмом. Человек спасает друга, ибо тот уже не раз спасал его самого, да еще и потому, что так поступали его предки еще в период палеолита, – все это звучит настолько легковесно, что избавляет нас от комментариев.

О войне: итог концепции Лоренца

В результате анализа агрессивного инстинкта у человека Лоренц приходит к выводу, весьма близкому размышлениям Фрейда, высказанным им в письме к Эйнштейну, на тему «Почему война?» (100, 1933b). Ни один человек не может почувствовать радость, узнав, что войны неизбежны, что искоренить войну в принципе невозможно, ибо она является следствием врожденно-инстинктивного поведения. И если Фрейда можно назвать «пацифистом» в широком смысле слова, то Лоренца вряд ли можно зачислить в этот разряд, хотя он и понимает, что ядерная война – это катастрофа небывалого масштаба. Он ищет средства, чтобы помочь обществу избежать трагических последствий агрессивного инстинкта, – на самом деле в ядерный век он фактически вынужден искать возможности сохранения мира, коль скоро стремится сделать приемлемой свою теорию о врожденной человеческой деструктивности. Некоторые его предложения похожи на фрейдовские, но все же разница очень велика. Фрейд выдвигает свои предложения с большой долей скепсиса и скромности, Лоренц же заявляет: «В отличие от Фауста, я знаю способ и могу научить людей, как изменить себя в лучшую сторону¹⁶. И мне кажется, что я здесь не преувеличиваю своих возможностей...» (163, 1963, с. 393).

Если бы под этим заявлением были серьезные основания,

то заслуги Лоренца и впрямь было бы трудно переоценить. Однако его советы не идут дальше широко известных штампов типа «простых предостережений об опасности полной дезинтеграции, которая грозит обществу, если в нем будут функционировать неправильные модели социального поведения».

1. Первая совершенно очевидная рекомендация состоит в том, чтобы... «познать самого себя». Под этим Лоренц понимает «требование углубить свои знания о причинных связях нашего собственного поведения», т. е. о законах эволюции (163, 1963, с. 374). Одним из главных звеньев в этой цепи, с точки зрения Лоренца, является «объективно-психологическое изучение возможностей перенесения агрессии с первоначально избранного объекта на эрзац-объект» (163, 1963, с. 394).

2. Второй путь – это исследование так называемой сублимации методом психоанализа (163, 1963, с. 394).

3. «...Личное знакомство между людьми различных национальностей и партий» (163, 1963, с. 399).

4. Четвертое и, вероятно, важнейшее мероприятие, «проведение которого не терпит отлагательства», – это самокритичное и благоразумное овладение теми страстями, которые в предыдущей главе мы называли «опьянением борьбой» или «воинственным азартом»; это означает, что «необходимо помочь молодежи... найти подлинные цели, ради которых стоит жить в современном мире» (163, 1963, с. 401).

Рассмотрим внимательно каждый пункт этой программы. Классическую формулу «Познай самого себя» Лоренц применяет неправильно, причем не только в плане греческого смысла этой формулы¹⁷, но и в плане употребления этого понятия Фрейдом, который всю свою науку и практическую психотерапию строит на принципе самопознания. Для Фрейда понятие самопознания означает, что человек осознает то, что существует на бессознательном уровне; и это крайне трудный процесс, ибо человек при этом встречает огромное сопротивление, которое мешает осознать неосознанное. Самопознание в смысле Фрейда – это не только интеллектуальный, но одновременно и аффективный процесс, как его понимал еще Спиноза. Это познание, которое осуществляется не только с помощью разума, но и с помощью сердца. Познавать самого себя означает интеллектуально и эмоционально проникнуть в самые потаенные уголки своей души. Это процесс, который может длиться годы, а то и целую жизнь (когда речь идет о душевнобольном, который серьезно хочет избавиться от своего недуга и стать самим собой). Исцеление проявляется в усилении энергии, которая высвобождается, когда у человека исчезает необходимость тратить силы на вытеснение; поэтому человек пробуждается и высвобождается по мере того, как он глубже проникает в свою субъективную реальность. В противоположность этому взгляду Лоренц понимает под «познанием самого себя» нечто совершенно иное, а именно *теоретическое* знание о фактах

эволюции и особенно об инстинктивных корнях агрессивности. Пожалуй, Лоренцово понимание самопознания, скорее, можно сравнить с фрейдовской теорией о влечении к смерти. Если следовать аргументации Лоренца, то практика психоанализа полностью исчерпывается чтением собрания сочинений Фрейда. Невольно приходит на ум поговорка Маркса о том, что того, кто упал в воду, не умея плавать, не спасет знание законов гравитации. «Чтение рецептов никого не излечит», – гласит китайская мудрость.

Свой второй рецепт о сублимации Лоренц даже не раскрывает. Что касается третьего «требования личного знакомства представителей различных партий и национальностей», то сам Лоренц признает, что в этой формуле почти все очевидно, ибо даже любые авиакомпании в своей рекламе объявляют о том, что международные рейсы служат делу мира. К сожалению, представление о том, что личное знакомство выполняет функцию снижения агрессивности, не получило подтверждения. Гораздо больше примеров обратного. Англичане и немцы довольно хорошо были знакомы до 1914 г., но, когда началась война, обе нации были охвачены безмерной ненавистью¹⁸.

Есть еще одно убедительное доказательство. Ни одна война, как известно, не вызывает больше ненависти и жестокости, чем гражданская, в которой стороны особенно хорошо знают друг друга. А разве ненависть между родственниками из одной семьи становится меньше оттого, что они отлично

знают друг друга?

Трудно ожидать, что «знакомство» и «дружба» уменьшат агрессию, ибо в этом случае речь может идти лишь о самом поверхностном знании о другом человеке, т. е. о знании «объекта», наблюдаемого снаружи. Это знание не имеет ничего общего с глубинным эмпатическим проникновением в переживания другого человека, которые становятся мне понятны лишь тогда, когда я мобилизую весь свой опыт, вспоминая и сравнивая аналогичные или хотя бы мало-мальски сходные ситуации из своей жизни. Познание такого рода требует от познающего определенных усилий, чтобы он сам справился со многим вытесненным (из своего сознания) материалом; и в этом процессе постепенно реализуются новые пласты нашего бессознательного, которые раньше были помехой на пути самопознания. И если достигнуто такое понимание (которое не поддается рациональной оценке), то это ведет к снижению, а то и к полному устранению агрессивности; это зависит от того, насколько удалось данному субъекту преодолеть свою собственную неуверенность, жадность и нарциссизм, а вовсе не от максимального количества информации о других людях²³.

²³ Возникает один интересный вопрос: почему гражданские войны и впрямь полны жестокостей и почему они будят значительно больше разрушительных импульсов, чем межнациональные войны? Вряд ли стоит пытаться искать причину в том, что, как правило, никто (по крайней мере, в современных межнациональных конфликтах) не преследует цель уничтожить врага. Цель таких войн ограничена: заставить противника принять такие условия мирного договора, которые

Последнее место в программе из четырех пунктов занимает предложение о «новой направленности опьянения борьбой (бойцовского азарта)». Особое место среди его рекомендаций занимает спорт. Никто не отрицает того факта, что спортивная борьба может вызвать слишком серьезную агрессивность. Недавно мы имели возможность убедиться в этом, когда во время международного футбольного матча в Латинской Америке взрыв эмоций привел к вспышке настоящей войны.

И поскольку нет доказательств того, что спорт снижает агрессивность, то одновременно следует подчеркнуть и то, что мотивировка спорта необходимостью разрядки агрессивного потенциала также не имеет доказательств. То, что в спорте приводит к агрессии, – это дух соревнования и зрелищность, которая культивируется и стимулируется общей коммерциализацией спортивных мероприятий, когда главную роль играют деньги и популярность, а вовсе не гордость спортивными показателями. Многие видные наблюда-

наносят ему ущерб, но ни в коей мере не угрожают жизни народов побежденной страны. (Трудно сыскать более убедительную иллюстрацию, чем тот факт, что Германия, потерпев фиаско в двух мировых войнах, после каждого поражения подымалась и расцветала пуще прежнего.) Исключение из правила составляют войны, целью которых является физическое уничтожение или порабощение всего населения другой державы (такие войны, мы знаем, можно найти у римлян, но отнюдь не все войны были такими). В гражданской войне противники имеют целью если не физическое, то по меньшей мере экономическое, социальное и политическое уничтожение. Если такая гипотеза верна, то это означает, что степень деструктивности в целом зависит от серьезности угрозы.

тели несчастных Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене утверждают, что эти игры были не столько проявлением доброй воли и миролюбия, сколько способствовали росту национализма и соревновательной агрессивности*¹⁹.

Достаточно процитировать еще некоторые высказывания Лоренца о войне и мире, чтобы убедиться в непоследовательности и двойственности его позиции. Например, он говорит: «Допустим, я люблю свою родину (это так и есть на самом деле) и что я испытываю неодолимую враждебность по отношению к другой стране (что на самом деле мне совсем не свойственно), все равно я не смог бы *всем сердцем* желать ее уничтожения, *если бы* я представил себе, что в этой стране живут люди, которые увлечены естественными науками, или те, кто чтут Чарлза Дарвина и пропагандируют его открытия, или другие, которые, как и я, обожают искусство Микеланджело и “Фауста” Гёте, или те, кто разделяют мое восхищение коралловыми рифами и другими объектами природы. Я не смогу вызвать в себе *безграничную* ненависть к врагу, если узнаю, что его ценностные ориентации в области культуры и морали совпадают с моими собственными привязанностями и вкусами» (163, 1966, с. 292. Курсив мой. – Э. Ф.). Лоренц вводит такое странное ограничение для разрушительности и ненависти, обозначив его словами «всем сердцем» или «безграничность». Тогда возникает вопрос: а разве бывает иное желание разрушить целую страну, или, может быть, бывает «ограниченная» ненависть? Еще важнее то, что условие, при

котором он отказывается от разрушения другой страны, состоит в том, что там живут люди с такими же, как у Лоренца, вкусами и привязанностями... А то, что речь идет просто о живых людях, которые могут погибнуть, – этого недостаточно. Иначе говоря: полное уничтожение противника нежелательно лишь тогда, когда и поскольку тот принадлежит к одной и той же культуре, что и Конрад Лоренц, и разделяет его интересы.

Суть и характер этих заявлений несколько не меняются от того, что Лоренц требует «гуманистического воспитания», т. е. воспитания в духе максимального привития индивиду общечеловеческих ценностей и идеалов. Именно эти принципы преобладали в системе воспитания в немецких гимназиях перед Первой мировой войной, однако большая часть учителей этих гуманистических гимназий, вероятно, была значительно воинственной настроена, чем простые немцы... Однако по-настоящему оказать сопротивление войне может лишь очень радикальный гуманизм, такой, для которого главные ценности – это жизнь, человеческое достоинство и саморазвитие индивида.

Обожествление эволюции

Невозможно до конца понять позицию Лоренца, если не знать о его фанатической приверженности дарвинизму. Такая позиция не редкость в наши дни и заслуживает серьез-

ного изучения как важный социально-психологический феномен современной культуры. Глубочайшая потребность человека в том, чтобы избавиться от чувства одиночества и заброшенности, прежде находила удовлетворение в идее Бога, который создал этот мир и заботится о каждом отдельном существе. Когда эволюционная теория разрушила образ Бога как высшего творца, одновременно утратила силу и вера в Бога как всемогущего отца (хотя многие сумели сохранить веру в Бога наряду с признанием теории Дарвина). Однако для тех, у кого вера в царство Божие пошатнулась, сохранилась потребность в какой-либо богоподобной фигуре. И некоторые из них провозгласили в качестве нового бога эволюцию, а Дарвина объявили ее пророком. Для Лоренца – и не только для него – идея эволюции стала ядром целой системы ценностных ориентаций. Дарвин открыл для него окончательную истину в вопросе о происхождении человека. Все явления, связанные с экономическими, религиозными, этическими или политическими обстоятельствами человеческого бытия, отныне объяснялись исключительно с позиций теории происхождения видов.

Квазирелигиозное отношение к дарвинизму проявляется и в выражении «великие конструкторы», которым Лоренц обозначает естественный отбор и изменчивость (ср. 163, 1963, с. 20). Он говорит о методах и целях этих «великих конструкторов» точно так же, как христианин говорит о творениях Господа Бога; употребляемое единственное

число «великий конструктор» еще больше усиливает аналогию с Богом²⁰. Самое яркое свидетельство идолопоклонства в мышлении Лоренца мы обнаруживаем в последнем разделе его книги «Так называемое зло»:

Союз личной любви и дружбы, на котором основано наше социальное устройство, возникает на том этапе развития родового строя, когда нужно было ограничить агрессивность и обеспечить мирное сосуществование двух и более индивидов. Новые жизненные условия современного человечества, бесспорно, заставляют искать новые механизмы, препятствующие агрессивности всех против всех. Именно отсюда выводится естественное, чуть ли не природой заложенное требование братской любви человека ко всем людям. Это требование не ново, разумом мы понимаем его необходимость, сердцем ощущаем его красоту, *но все же мы не в силах выполнить его*, так уж устроен человек. Он может испытывать полноценное чувство любви и дружбы только к отдельным людям, и самая сильная и добрая воля ничего тут не может изменить! И все же великий конструктор может это. Я верю, что он это сделает, ибо я верю в мощь человеческого разума, я верю в силу естественного отбора, и я верю, что разумная селекция совершается разумом. Я верю, что в недалеком будущем наши потомки обретут способность для исполнения этого величайшего и благороднейшего требования (163, 1963, с. 412. Курсив мой. – Э. Ф.).

Великий конструктор свершит то, что не сумели сделать ни Бог, ни человек. Заповедь братской любви не может быть реализована, пока ее не пробудит к новой жизни великий конструктор. Абзац заканчивается настоящим признанием: я верю, я верю, я верю...

Социальный и моральный дарвинизм* в творчестве Лоренца имеет тенденцию к вуалированию истинных причин человеческой агрессивности – биологических, психологических и социальных. В этом состоит фундаментальное расхождение между Лоренцом и Фрейдом. Фрейд был последним представителем философии Просвещения. Он искренне верил в разум как единственную силу, способную спасти человека от душевного и духовного краха. Он требовал настоящего самопознания человека через раскрытие его неосознанных влечений. Обратившись к разуму, он пережил утрату Бога и при этом болезненно четко сознавал свои недостатки. Но он не стал искать новых богов.

II. Бихевиоризм и теория среды

Теория среды у просветителей

Диаметрально противоположную инстинктивизму позицию занимают представители теории среды. Они утверждают, что человеческое поведение формируется исключительно под воздействием социального окружения, т. е. определяется не «врожденными», а социальными и культурными факторами. Это касается и агрессивности, которая является одним из главных препятствий на пути человеческого прогресса.

Уже философы-просветители рьяно отстаивали эту идею в самой радикальной ее форме. Они утверждали, что человек рождается добрым и разумным. И если в нем развиваются дурные наклонности, то причиной тому – дурные обстоятельства, дурное воспитание и дурные примеры. Многие считали, что не существует психических различий между полами (*l'âme n'a pas de sex*²⁴) и что реально существующие различия между людьми объясняются исключительно социальными обстоятельствами и воспитанием. Следует отметить, что в противоположность бихевиористам эти философы имели в виду вовсе не манипулирование сознанием,

²⁴ Душа не имеет пола (фр.). – Примеч. ред.

не методы социальной инженерии, а социальные и политические изменения самого общества. Они верили, что «хорошее общество» обеспечит формирование хорошего человека или по крайней мере сделает возможным проявление его лучших природных качеств.

Бихевиоризм

Основателем бихевиоризма является Д. Б. Уотсон. Главной предпосылкой этого психологического направления еще в 1914 г. стала идея о том, что «предметом психологии является *человеческое поведение*». Как и представители логического позитивизма²¹, бихевиористы выносят за скобки все «субъективные факторы, которые не поддаются непосредственному наблюдению, такие как ощущение, восприятие, представление, влечение и даже мышление и эмоции, коль скоро они имеют субъективную природу» (276, 1958, с. 35).

На пути своего развития от чуточки наивных формулировок Уотсона до филигранных необихевиористских конструкций Скиннера бихевиоризм претерпел довольно заметные изменения. И все же речь идет, скорее, о совершенствовании первоначальной формулировки, чем о возникновении новых оригинальных идей.

Необихевиоризм²⁵ Б. Ф. Скиннера

Необихевиоризм опирается на тот же самый принцип, что и концепция Уотсона, а именно: психология не имеет права заниматься чувствами или влечениями или какими-либо другими субъективными состояниями²⁶; он отклоняет любую попытку говорить о «природе» человека, либо конструировать модель личности, либо подвергать анализу различные страсти, мотивирующие человеческое поведение. Всякий анализ поведения с точки зрения намерений, целей и задач Скиннер квалифицирует как донаучный, ненаучный и как совершенно бесполезную трату времени. Психология должна заниматься изучением того, *какие* механизмы стимулируют человеческое поведение (reinforcements) и *как* они

²⁵ Поскольку полноценный анализ теории Скиннера увел бы нас в сторону от нашей проблемы, я ограничусь лишь изложением общих принципов и анализом отдельных пунктов, имеющих отношение к нашей теме. А для серьезного изучения системы Скиннера я рекомендую его собственные лекции (248, 1953; 1963), а также более позднюю его книгу (248, 1971), где обсуждаются общие принципы бихевиоризма, их место и роль в культуре. Критическую оценку системы Скиннера можно найти у Н. Хомского (60, 1959, с. 26–58).

²⁶ Правда, в отличие от многих бихевиористов, Скиннер даже допускает, что «факты индивидуальной жизни» нельзя совсем «вынести за скобки научного анализа»; он добавляет также, что «проникновение в мир индивида если не полностью исключено, то во всяком случае сильно затруднено» (248, 1963, с. 952). Это суждение Скиннера звучит как уступка, однако уступка столь незначительная, что ее можно расценивать самое большее как реверанс в сторону души как предмета психологии.

могут быть использованы с целью достижения максимального результата. «Психология» Скиннера – это наука манипулирования поведением; ее цель – обнаружение механизмов «стимулирования», которые помогают обеспечивать необходимое «заказчику» поведение.

Вместо условных рефлексов павловской модели Скиннер говорит о модели «стимул – реакция». Иными словами, это означает, что безусловно-рефлекторное поведение приветствуется и вознаграждается, поскольку оно желательно для экспериментатора. (Скиннер считает, что похвала, вознаграждение являются более сильным и действенным стимулом, чем наказание.) В результате такое поведение закрепляется и становится привычным для объекта манипулирования. Например, Джонни не любит шпинат, но он все же ест его, а мать его за это вознаграждает (хвалит его, одаривает взглядом, дружеской улыбкой, куском любимого пирога и т. д.), т. е., по Скиннеру, применяет позитивные «стимулы». Если стимулы работают последовательно и планомерно, то дело доходит до того, что Джонни начинает с удовольствием есть шпинат. Скиннер и его единомышленники разработали и проверили целый набор операциональных приемов в сотнях экспериментов. Скиннер доказал, что путем правильного применения позитивных «стимулов» можно в невероятной степени менять поведение как животного, так и человека – и это даже вопреки тому, что некоторые слишком смело называют «врожденными склонностями».

Доказав это экспериментально, Скиннер, без сомнения, заслужил признание и известность. Одновременно он подтвердил мнение тех американских антропологов, которые на первое место в формировании человека выдвигали социокультурные факторы. При этом важно добавить, что Скиннер не отбрасывает полностью генетические предпосылки. И все же, чтобы точно охарактеризовать его позицию, следует подчеркнуть: Скиннер считает, что, невзирая на генетические предпосылки, поведение полностью определяется набором «стимулов». Стимул может создаваться двумя путями: либо в ходе нормального культурного процесса, либо по заранее намеченному плану (248, 1961; 1971).

Цели и ценности

Эксперименты Скиннера не занимаются выяснением целей воспитания. Подопытному животному или человеку в эксперименте создаются такие условия, что они ведут себя вполне определенным образом. А зачем их ставят в такие условия – это зависит от руководителя проекта, который выдвигает цели исследования. Практика-экспериментатора в лаборатории в общем и целом мало занимает вопрос, зачем он тренирует, воспитывает, дрессирует подопытное животное (или человека), его, скорее, интересует сам процесс доказательства своего умения и выбора методов, адекватных поставленной цели. Когда же мы от лабораторных условий

переходим к условиям реальной жизни индивида и общества, то возникают серьезные трудности, связанные как раз с вопросами: *зачем* человека подвергают манипуляции и кто является заказчиком (кто ставит, преследует подобные цели)?

Создается впечатление, что Скиннер, говоря о культуре, все еще имеет в виду свою лабораторию, в которой психолог действует без учета ценностных суждений и не испытывает трудностей, ибо цель эксперимента для него не имеет значения. Это можно объяснить по меньшей мере тем, что Скиннер просто не в ладах с проблемой целей, смыслов и ценностей. Например, он пишет: «Мы удивляемся, когда люди ведут себя необычно или оригинально, не потому, что подобное поведение само по себе достойно удивления, а потому, что мы не знаем, каким способом можно простимулировать оригинальное, из ряда вон выходящее поведение» (248, 1956). Подобное рассуждение движется в порочном кругу: мы удивляемся оригинальности, ибо единственное, что мы в состоянии зафиксировать, – так это то, что мы удивляемся.

Однако зачем мы вообще обращаем внимание на то, что не является достойной целью? Скиннер не ставит этого вопроса, хотя минимальный социологический анализ способен дать на него ответ. Известно, что в различных социальных и профессиональных группах наблюдается различный уровень оригинальности мышления и творчества. Так, например, в нашем технологически-бюрократическом обществе это ка-

чество является чрезвычайно важным для ученых, а также руководителей промышленных предприятий. Зато для рабочих высокий творческий потенциал является совершенно излишней роскошью и даже создает угрозу для идеального функционирования системы в целом.

Я не думаю, что наш анализ способен дать исчерпывающий ответ на вопросы об оригинальности мышления и творчества. С точки зрения психологии многое свидетельствует о том, что творческое начало, а также стремление к оригинальности имеют глубокие корни в природе человека, и нейрофизиологи подтверждают гипотезу, что это стремление «вмонтировано» в структуру мозга (162, 1967). Я хотел бы подчеркнуть следующее: Скиннер попадает в сложное положение со своей концепцией потому, что не придает никакого значения поискам и находкам психоаналитической социологии, считая, что если бихевиоризм не знает ответа на какой-либо вопрос, то ответа и вовсе не существует.

Приведу пример, свидетельствующий о расплывчатости скиннеровских представлений о ценностях.

Большинство людей согласится, что решение о путях и способах создания атомной бомбы не содержит ценностных суждений, зато они не согласятся с утверждением, что решение о создании такого оружия в принципе было свободно от ценностных суждений. Главное различие между этими позициями, видимо, состоит в том, что ученые-практики, руководящие конструированием бомбы, – все на виду, в то время

как создатели культуры, в рамках которой возникла бомба, остаются в тени. И мы не можем предсказать успешность или провал культурных открытий с такой же степенью точности, как это имеет место в отношении физических открытий. А потому в этих случаях мы прибегаем к ценностным суждениям, к догадкам, предположениям и т. д. Ценностные суждения лишь там выходят на верный след, где этот след оставила наука. А когда мы научимся планировать и измерять мелкие социальные взаимодействия и другие явления культуры с такой же точностью, какой мы располагаем в физической технологии, то вопрос о ценностях отпадет сам собой (248, 1961, с. 545).

Главный тезис Скиннера сводится к следующему. Не вызывает сомнения тот факт, что ценностные суждения отсутствуют как при решении построить атомную бомбу, так и при техническом решении этой проблемы. Разница состоит лишь в том, что мотивы построения бомбы не совсем «ясны». Может быть, профессору Скиннеру они и впрямь не ясны, зато многим историкам эти мотивы понятны.

На самом деле решение о создании атомной бомбы имело под собой более чем одну причину (то же самое относится и к водородной бомбе). Первая – это страх, что Гитлер сделает такую бомбу; кроме того – желание обладать сверхмощным оружием в будущих конфликтах с Советским Союзом; и наконец – внутренняя логика развития общественной системы, которая вынуждена постоянно наращивать вооруже-

ние, чтобы чувствовать уверенность перед лицом конкурирующих систем.

Однако, кроме этих чисто военных стратегических и политических оснований, я полагаю, была еще одна не менее важная причина. Я имею в виду ту максиму, которая превратилась в аксиоматическую норму кибернетического общества: *«Нечто должно быть сделано, если только это технически возможно»*. И когда возникает возможность производства ядерного оружия, оно не может не быть произведено, даже если это несет угрозу всеобщего уничтожения. Если появляется возможность полететь на Луну или другие планеты, то это должно произойти даже ценой многочисленных лишений людей, живущих на Земле. Этот принцип означает отрицание всех гуманистических ценностей, место которых занимает одна высочайшая ценностная норма «технотронного» общества²⁷.

Скиннер не дает себе труда изучить причины создания

²⁷ Эта идея подробно изложена в моей книге «Революция надежды» (101, 1968а). Совершенно самостоятельно и очень близко к моим взглядам этот принцип формулирует Х. Озбекхан в своей работе «Триумф технологии»: «могу» означает «должен» (209, 1968). Мое внимание к этой проблеме привлек доктор М. Маккоби, который в своих исследованиях в области менеджмента в высокоразвитых индустриальных странах пришел к выводу, что принцип: «могу» значит «должен» – более всего касается стран с сильным военно-промышленным комплексом. Однако я бы сказал, что и в других сферах этот принцип пробил себе дорогу. Яркие примеры тому – космос, а в последние годы – медицина, с ее тенденцией к созданию приборов и аппаратов без учета их реальной применимости.

бомбы и предлагает нам подождать, пока бихевиоризм раскроет эту тайну. В своих воззрениях на социальные процессы он проявляет такую же беспомощность, как и при обсуждении психических процессов, т. е. он совершенно не способен понять скрытые (невербальные) мотивы тех или иных общественных явлений. А поскольку все то, что люди говорят о своих мотивах и в политической, и в личной жизни, фактически является фикцией, поскольку вербально выраженные мотивы лишь скрывают истину, то понимание социальных и психических процессов оказывается заблокировано, если исследователь довольствуется лишь словесным материалом. Но иногда, сам того не замечая, Скиннер потихоньку протаскивает ценностные категории. Например, он пишет: «Я уверен, что никто не хочет развития новой системы отношений типа «хозяин – слуга», никто не хочет искать новых деспотических методов подавления воли народа властью имущими. Это образцы управления, которые были пригодны лишь в том мире, в котором еще не было науки» (248, 1956, с. 1060). Спрашивается, в какую эпоху живет профессор Скиннер? Разве сейчас нет стран с эффективной диктаторской системой подавления воли народа? И разве похоже, что диктатура возможна лишь в культурах «без науки»? Скиннер все еще верует в устаревшую идею «прогресса», согласно которой средневековье было «мрачным», ибо тогда еще не было наук, а развитие науки с необходимостью ведет к увеличению человеческой свободы. На самом деле ни

один политический лидер и ни одно правительство никогда не признаются в своих намерениях подавить волю народа; у них на устах сегодня совсем другие слова, совершенно иная лексика, которая, казалось бы, имеет диаметрально противоположное значение. Ни один диктатор не называет себя диктатором, и каждая политическая система клянется выражать волю народа. К тому же, в странах «свободного мира» в труде, в воспитании и в политике место явного авторитета занимают «анонимный авторитет» и система манипулирования.

Ценностные суждения Скиннера проявляются и в других его высказываниях. Например, он утверждает: «Если мы *достойны* нашего демократического наследия, то, естественно, мы будем готовы оказать противодействие использованию науки в любых деспотических или просто эгоистических целях. И если мы еще *ценим* демократические достижения и цели, то мы не имеем права медлить и должны немедленно использовать науку в деле разработки моделей культуры, при этом нас не должно смущать даже то обстоятельство, что мы в известном смысле можем оказаться в положении контролеров» (248, 1956, с. 1065. Курсив мой. – Э. Ф.). Что же является основанием для подобного ценностного понятия внутри необихевиористской теории? И при чем здесь контролеры?

Ответ находим у самого Скиннера: «Все люди осуществляют контроль и сами находятся под контролем» (там же, с. 1060). Это звучит почти как успокоение для человека, де-

мократически настроенного, но вскоре выясняется, что речь идет всего лишь о робкой и почти ничего не значащей формулировке:

Когда мы выясняем, каким образом господин контролирует раба, а работодатель – рабочего, мы упускаем из виду обратные воздействия и потому судим о проблеме контроля односторонне. Отсюда возникает привычка понимать под словом «контроль» эксплуатацию или по меньшей мере состояние одностороннего преимущества; а на самом деле контроль осуществляется обоюдно. *Раб контролирует своего господина в такой же мере, как и господин своего раба*, – в том смысле, что методы наказания, применяемые господином, как бы определяются поведением раба. Это не означает, что понятие эксплуатации утрачивает всякий смысл или что мы не имеем права спросить *сui bono?*²⁸ Но когда мы задаем такой вопрос, то мы абстрагируемся от самого конкретного социального эпизода и оцениваем перспективы воздействия, которые совершенно очевидно связаны с ценностными суждениями. Подобная ситуация складывается и при анализе любых способов поведения, которые производят инновации в практике культуры (248, 1961, с. 541).

Я считаю это рассуждение возмутительным; мы должны

²⁸ Кому это выгодно? (лат.) – Примеч. ред.

верить, что отношения между рабом и господином взаимны, и это несмотря на то, что понятие эксплуатации «не лишено смысла». Для Скиннера эксплуатация не является частью самого социального эпизода, этой частью являются лишь методы контроля. Это позиция человека, для которого социальная жизнь ничем не отличается от эпизода в лаборатории, где экспериментатора интересуют только его методы, а вовсе не сам по себе «эпизод», ибо в этом искусственном мирке совершенно не имеет значения, какова крыса – миролюбива она или агрессивна. И словно этого еще было мало, Скиннер окончательно констатирует, что за понятием эксплуатации «легко просматриваются» ценностные суждения. Быть может, Скиннер полагает, что эксплуатация или грабеж, пытки, убийства – только слова, а не «факты», коль скоро эти явления связаны с ценностными суждениями? Это должно означать следующее: любые психологические и социальные феномены утрачивают характер фактов, доступных научному исследованию, как только их можно охарактеризовать с точки зрения их ценностного содержания²⁹.

Идею Скиннера о взаимности отношений раба и рабовладельца можно объяснить только тем, что он употребляет слово «контроль» в двояком смысле. В том смысле, в котором оно употребляется в реальной жизни, вне всякого сомнения,

²⁹ Исходя из такой логики, отношения между жертвой пыток и ее мучителем следует считать «взаимными», ибо жертва, демонстрируя свою боль, стимулирует мучителя к применению все более действенных методов.

рабовладелец контролирует раба, и при этом не может быть речи о «взаимности», если не считать, что при определенных обстоятельствах раб располагает минимумом обратного контроля – например, он угрожает бунтом. Но Скиннер не это имеет в виду. Он подразумевает контроль в самом абстрактном смысле лабораторного эксперимента, который не имеет ничего общего с реальной жизнью. Он вполне серьезно повторяет то, что часто рассказывают как анекдот, – это история про крысу, которая рассказывает другой крысе, как хорошо ей удастся воспитывать своего экспериментатора: каждый раз, когда она нажимает на определенный рычаг, человек вынужден ее кормить.

Поскольку бихевиоризм не владеет *теорией личности*, он видит только поведение и не в состоянии увидеть действующую личность. Для необихевиориста нет никакой разницы между улыбкой друга и улыбкой врага, улыбкой хорошо обученной продавщицы и улыбкой человека, скрывающего свою враждебность. Однако трудно поверить, что профессору Скиннеру в его личной жизни это также безразлично. Если же в реальной жизни эта разница для него все же имеет значение, то как могла возникнуть теория, полностью игнорирующая эту реальность?

Необихевиоризм не может объяснить, почему многие люди, которых обучили преследовать и мучить других людей, становятся душевнобольными, хотя «положительные стимулы» продолжают свое действие. Почему положительное

«стимулирование» не спасает многих и что-то вырывает их из объятий разума, совести или любви и тянет в диаметрально противоположном направлении? И почему многие наиболее приспособленные человеческие индивиды, которые призваны, казалось бы, блистательно подтверждать теорию воспитания, в реальной жизни нередко глубоко несчастны и страдают от комплексов и неврозов? Очевидно, существуют в человеке какие-то влечения, которые сильнее, чем воспитание; и очень важно с точки зрения науки рассматривать факты неудачи воспитания как победу этих влечений. Разумеется, человека можно обучить чуть ли не любым способом, но именно «чуть ли не». Он реагирует на воспитание по-разному и вполне определенным образом ведет себя, если воспитание противоречит основным его потребностям. Его можно воспитать рабом, но он будет вести себя агрессивно. Или человека можно приучить чувствовать себя частью машины, но он будет реагировать, постоянно испытывая досаду и агрессивность глубоко несчастного человека.

По сути дела, Скиннер является наивным рационалистом, который игнорирует человеческие страсти. В противоположность Фрейду, Скиннера не волнует проблема страстей, ибо он считает, что человек всегда ведет себя так, как ему полезно. И на самом деле общий принцип необихевиоризма состоит в том, что идея полезности считается самой могущественной детерминантой человеческого поведения; человек постоянно апеллирует к идее собственной пользы, но при

этом старается вести себя так, чтобы завоевать расположение и одобрение со стороны своего окружения. В конечном счете бихевиоризм берет за основу буржуазную аксиому о примате эгоизма и собственной пользы над всеми другими страстями человека.

Причины популярности Скиннера

Невероятную популярность Скиннера можно объяснить тем, что ему удалось соединить элементы традиционного либерально-оптимистического мышления с духовной и социальной реальностью.

Скиннер считает, что человек формируется под влиянием социума и что в «природе» человека нет ничего, что могло бы решительно помешать становлению мирного и справедливого общественного строя. Таким образом, система Скиннера оказалась привлекательной для всех тех психологов, которые относятся к либералам и находят в этой системе аргументы для защиты своего политического оптимизма. Он апеллирует ко всем тем, кто верит, что такие вожденные социальные цели, как мир и равенство, являются не просто утопией, а что их можно воплотить в жизнь. Сама идея создания более совершенного, научно обоснованного общественного строя волнует всех, кто раньше был в рядах социалистов. Разве не к этому же стремился Маркс? Разве не он назвал свой социализм «научным» в противополо-

ложность «утопическому» социализму предшественников? И разве метод Скиннера не выглядит особенно привлекательно в тот исторический момент, когда политические лозунги себя исчерпали, а революционные надежды захлебнулись?

Однако Скиннер привлекает не только своим оптимизмом, но и тем, что ему удалось умело вмонтировать в традиционно либеральные идеи элементы яркого негативизма. В век кибернетики индивид все чаще становится объектом манипулирования. Его труд, потребление и свободное время – все находится под воздействием рекламы, идеологии и всего того, что Скиннер называет положительным стимулированием. Личность теряет свою активную ответственную роль в социальном процессе; человек становится совершенно «конформным» существом и привыкает к тому, что любое поведение, поступок, мысль и даже чувство, отклоняющиеся от стандарта, будут иметь для него отрицательные последствия; он результативен лишь в том, что от него ожидают. Если же он будет настаивать на своей уникальности, то в полицейском государстве он рискует потерять не только свободу, но и жизнь; в некоторых демократических системах он рискует своей карьерой, иногда – потерей работы, а важнее всего – он рискует оказаться в изоляции. Хотя большинство людей не осознают своего внутреннего дискомфорта, они все же испытывают неопределенное чувство страха перед жизнью, они боятся будущего, одиночества, тоски и бессмысленности

своего существования. Они чувствуют, что их собственные идеалы не находят опоры в социальной реальности. Какое же огромное облегчение они должны испытать, узнав, что приспособление – это самая лучшая, самая прогрессивная и действенная форма жизни. Скиннер превращает кибернетический ад изолированного, манипулируемого индивида в райские кущи прогресса. Он избавляет нас от страха перед будущим, заявляя, что направление, в котором развивается наша индустриальная система, – это то самое направление, о котором мечтали великие гуманисты прошлого, да к тому же еще и научно обоснованное. Кроме того, теория Скиннера звучит очень убедительно, так как она (почти) точно «попадает» в отчужденного человека кибернетического общества. Короче, скиннеризм – это психология оппортунизма, выдающая себя за научный гуманизм.

Я вовсе не хочу этим сказать, что Скиннер *захотел* выступить в роли апологета «технотронного» века. Напротив, его политическая и социальная наивность нередко вынуждают его писать такие вещи, которые звучат гораздо убедительнее (хоть и тревожат душу), чем если бы он отдавал себе полностью отчет в том, к чему он пытается нас приспособить.

Бихевиоризм и агрессия

Знание бихевиористской методологии очень важно для изучения проблемы агрессии, поскольку в США большин-

ство ученых, хоть как-то причастных к проблеме агрессии, являются приверженцами бихевиоризма. Их аргументация проста: если Джон обнаружит, что в ответ на его агрессивное поведение его младший брат (или мать) дают ему то, что он хочет, то он превратится в человека с агрессивными наклонностями; то же самое можно было бы сказать в отношении мужественного, низкопоклоннического или любвеобильного поведения. Формула гласит: человек чувствует, думает и поступает так, как он считает правильным для достижения ближайшей желанной цели. Агрессивность, как и другие формы поведения, является благоприобретенной и определяется тем, что человек стремится добиться максимального преимущества.

Бихевиорист А. Басс определяет агрессию как «поведение, вызывающее раздражение и наносящее ущерб другим организмам». Приведу небольшой фрагмент из его рассуждений:

То, что в определение понятия агрессии совершенно не вошел такой элемент, как намерение (мотив), обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, намерение имплицитно включает телеологию — целенаправленное действие, устремленное к будущей цели; такое понятие намерения несовместимо с бихевиористскими взглядами. Во-вторых (что еще важнее), это понятие очень трудно применить к действиям, поступкам в бихевиористском смысле. Намерение, умысел — это индивидуальное действие,

которое может получить вербальное выражение, а может и не получить... О намерении можно судить по истории процесса «стимулирования». Если агрессивная реакция систематически усиливалась и имела специфические последствия (например, бегство жертвы), то можно утверждать, что повторение агрессивного поведения содержит «намерение вызвать такую реакцию, как бегство». Однако подобное рассуждение совершенно излишне при анализе поведения, гораздо полезнее и продуктивнее будет изучить отношение между историей «стимулирования» агрессивной реакции и непосредственной ситуацией, подтолкнувшей эту реакцию.

В целом категория *намерения* очень сложна для анализа; к тому же агрессивное поведение в большей мере зависит от последствий «стимулирования», именно они определяют возникновение и интенсивность агрессивных реакций. Т. е., иными словами, речь идет о том, чтобы определить, какие виды «стимулов» вызывают агрессивное поведение (51, 1961, с. 2).

Мы видим, что под словом «намерение» Басс имеет в виду сознательный умысел. Т. е. Басс не отказывается полностью от психоаналитического подхода к проблеме. «Если гнев не является импульсом к агрессии, стоит ли видеть в нем вообще какой-либо импульс? Мы считаем, что это нецелесообразно» (51, 1961, с. 11)³⁰.

³⁰ Сходные идеи мы находим у Л. Берковича, он также не отвергает идею моти-

Выдающиеся бихевиористы А. Басс и Л. Беркович демонстрируют гораздо больше понимания эмоциональных состояний человека, чем Скиннер, хотя в целом они поддерживают главный принцип Скиннера, гласящий, что объектом научного наблюдения является действие, а не действующий человек. Поэтому они не придают серьезного значения фундаментальным открытиям Фрейда, т. е. не учитывают того, что поведение определяют психические силы, что эти силы в основном находятся на бессознательном уровне и, наконец, что осознание («прозрение») как раз и является тем фактором, который преобразует энергетический потенциал и определяет направленность этих сил.

Бихевиористы претендуют на «научность» своего метода на том основании, что они занимаются теми видами поведения, которые доступны визуальному наблюдению. Однако они не понимают, что невозможно адекватно описать «поведение» в отрыве от действующей личности. Например, человек заряжает револьвер и убивает другого человека; само по себе действие – выстрел из револьвера – с психологической точки зрения мало что значит, если его взять в отрыве от «агрессора». Фактически бихевиоризм констатирует лишь то, что относится к действию револьвера; по отношению к револьверу мотив того, кто нажал на курок, не имеет

виروанных чувств, хотя и не выходит за рамки бихевиористской теории; он модифицирует теорию агрессии-фрустрации, но не отказывается от нее (30, 1962; 1969).

никакого значения. А вот поведение человека можно понять до конца лишь в том случае, если мы будем знать осознанные и неосознанные мотивы, побудившие его к выстрелу. При этом мы обнаружим не одну-единственную причину его поведения, а получим возможность эксплицировать внутреннюю психическую структуру его личности и выявить многие факторы, которые, соединившись вместе, и привели к тому мгновению, когда револьвер выстрелил. И тогда мы констатируем, что можем через целую систему личностных характеристик объяснить импульс, который привел к выстрелу. А сам выстрел зависит от массы случайных факторов, ситуативных элементов; например, от того, что у данного субъекта в этот момент оказался в руках именно револьвер, что вблизи не было других людей, наконец, от общего состояния его психики, а также от степени психологической напряженности в данный момент.

Поэтому основной бихевиористский тезис, согласно которому наблюдаемое поведение представляет собой надежную с научной точки зрения величину, совершенно ошибочен. На самом деле поведение различно в зависимости от различия мотивирующих его импульсов, а они-то часто скрыты от наблюдателя.

Это можно проиллюстрировать простым примером. Два отца с разным темпераментом бьют своих сыновей, полагая, что наказание полезно для нормального развития ребенка. Внешне оба отца ведут себя одинаково. Каждый дает свое-

му сыну затрещину правой рукой. Однако если мы сравним при этом, как ведет себя любящий отец и отец-садист, мы увидим в них много различий. Различные позы, выражения лиц, хватка, слова и тон разговора после наказания. Соответственно отличается и реакция детей. Один ребенок ощущает в наказании садистское, разрушительное начало; а другой не имеет никаких оснований усомниться в любви своего отца. И тем более, если эта уверенность дополняется другими бесчисленными примерами поведения отца, которые формируют ребенка с раннего детства. Тот факт, что оба отца убеждены в том, что наказывают детей для их же пользы, ничего не меняет, кроме того, что устраняет моральные преграды с пути отца-садиста. И даже если он, отец-садист, никогда не бил своего ребенка из страха перед женой, или из других соображений, или под влиянием прочитанных книг о воспитании, он все равно вызовет у ребенка те же самые реакции, ибо его взгляд так же точно выдает его садистское нутро, как и его руки, дающие ребенку затрещину. Поскольку дети чувствительнее взрослых, они реагируют в целом на импульс, который исходит от отца, а вовсе не на отдельные, изолированные факты его поведения.

Возьмем другой пример. Мы видим человека, который сердится, гневается, у которого от злости краснеет лицо. Мы описываем его поведение, говоря: он в гневе, в бешенстве, он вне себя. Если мы спросим, почему он гневается, то можем услышать в ответ: «Потому что он боится». – «А чего он

боится? Отчего этот страх?» – «Оттого, что он очень страдает от своей беспомощности». – «Откуда это чувство?» – «Все дело в том, что он никак не может порвать узы, привязывающие его к матери, и постоянно чувствует себя как малое дитя». (Это, разумеется, не единственно возможный вариант объяснения причинных связей.) Каждый из этих ответов содержит «истину». Разница лишь в том, что каждый из них отмечает причинную связь разной глубины; и чем глубже лежит причина, тем меньше она осознается. Чем глубже уровень осознания, тем больше мы получаем информации для понимания поведения. И не только для понимания мотивов, но и в том смысле, что поведение человека становится понятным до мелочей. В данном случае наблюдатель с тонким чутьем, скорее, заметит на «красном» лице выражение испуганной беспомощности, а не гнева. В другом случае поведение может быть внешне совершенно аналогичным, но от внимательного наблюдателя не ускользнет лежащая на лице человека печать жестокости и деструктивизма. Его гневное поведение – лишь результат того, что он держит под контролем свои разрушительные импульсы. И тогда два внешне одинаковых типа поведения на деле оказываются сильно отличающимися друг от друга, что научно можно объяснить, только обратившись к мотивационной сфере в структуре личности.

Поэтому на вопрос о «краснолицем» я дал необычный ответ: «Он гневается потому, что его оскорбили, или же он чув-

ствуется себя оскорбленным». Подобное объяснение акцентирует повод для гнева и упускает из виду, что раздражительность и гневливость могут быть и чертами характера данной личности. Группа людей будет по-разному реагировать на один и тот же раздражитель в зависимости от характеров индивидов. Так, например, субъекта А этот раздражитель задевает; субъект В испытывает к нему отвращение; субъект С может его испугаться, а субъект D просто проигнорирует его.

Басс прав, утверждая, что намерение – это личное дело каждого, которое может получить словесное выражение, а может и не получить. Однако как раз в этом и состоит дилемма бихевиоризма: поскольку он не располагает методом для анализа невербализованных данных, он вынужден ограничивать свои исследования теми данными, которые ему доступны и которые обычно слишком грубы и поверхностны, а потому недостаточны для проведения тонкого теоретического анализа.

О психологических экспериментах

Если психолог ставит перед собой задачу понять поведение человека, то он должен выбрать такие методы, которые пригодны для изучения человека *in vivo*³¹, тогда как бихевиористские исследования практически проводятся *in vitro*³² (я

³¹ В жизни (лат.). – Примеч. ред.

³² В пробирке (лат.). – Примеч. ред.

употребляю это выражение в собственном значении, т. е. для констатации того факта, что человек наблюдается в контролируемых, искусственно созданных условиях, а не в «реальном» жизненном процессе). Может возникнуть впечатление, будто психология стремилась обеспечить себе респектабельность посредством подражания естественным наукам, заимствуя у них некоторые методы, но, кстати сказать, это оказались методы, которые имели силу 50 лет назад, а не те «научные» методы, которые приняты в передовых отраслях науки сегодня³³. В результате недостаток теории часто скрывается за впечатляющими математическими формулами, которые не имеют ничего общего с фактами и нисколько не поднимают их значимость.

Разработать метод для наблюдения и анализа человеческого поведения вне лаборатории – весьма нелегкое дело, однако это является важнейшей предпосылкой для понимания человека. В сущности, при изучении человека работают только два метода наблюдения.

1. Первый метод – это прямое и детальное изучение одного человека другим. Самый результативный вариант данного метода демонстрирует «психоаналитическая лаборатория», разработанная Фрейдом. Здесь пациенту предоставляется возможность выразить свои неосознанные влечения, одновременно выясняется связь этих влечений с доступными

³³ Об этом говорил Роберт Опенгеймер²² и многие другие видные ученые-естественники (208, 1955).

глазу «нормальными» и «невротическими» актами поведения³⁴.

Менее сильным, но все же довольно продуктивным методом является интервью или серия опросов, к которым следует причислить также изучение некоторых сновидений, а также ряд прожективных тестов. Не следует недооценивать глубинные психологические данные, которые опытный наблюдатель добывает уже тем, что внимательно и долго следит за испытуемым, изучая его жесты, голос, осанку, руки, выражение лица и т. д. Даже не зная лично испытуемого и не имея в распоряжении ни писем, ни дневников, ни подробной его биографии, психолог может использовать наблюдение такого рода как важный источник для понимания психологического профиля личности.

2. Второй метод исследования человека *in vivo* состоит в том, чтобы, вместо «запихивания» жизни в психологическую лабораторию, превратить в «естественную лабораторию» определенные жизненные ситуации. Вместо конструирования искусственной социальной ситуации (как это делается в психологической лаборатории), исследователь изучает те эксперименты, которые предлагает сама жизнь. Надо выбрать такие *социальные ситуации*, которые поддаются сравнению, и с помощью специального метода превратить их в соответствующий эксперимент. Если одни факторы при-

³⁴ Я ставлю оба слова в кавычки, ибо довольно часто их отождествляют с выражениями «социально приспособленный» или «социально неприспособленный».

нять за константу, а другие изменять, то в такой естественной лаборатории появляется возможность для проверки различных гипотез. Существует очень много похожих ситуаций, и можно проверить, соответствует ли та или иная гипотеза всем этим ситуациям, и если это не так, то можно выяснить, существует ли убедительное объяснение для этого исключения, или надо изменить гипотезу. Простейшей формой подобного «естественного эксперимента» является *анкетный опрос* (с использованием большого списка открытых вопросов или же в ходе личного интервью), проводимый среди репрезентативных групп людей разного возраста, профессий (в тюрьмах, больницах и т. д.).

Само собой разумеется, в таких случаях мы не можем рассчитывать на абсолютную «точность» результатов, которая достигается в лаборатории, ибо два социальных объекта никогда не бывают совершенно идентичны. Но когда ученый имеет дело не с «подопытными индивидами», а с людьми, когда он изучает не артефакты, а реальную жизнь, то вовсе не стоит ему гнаться за видимой (а иногда и сомнительной) точностью ради того, чтобы получить весьма тривиальные результаты. Я считаю, что для анализа агрессивного поведения с научной точки зрения наиболее пригодны либо психоаналитическое интервьюирование, либо опрос в естественной социальной «лаборатории» жизни. Правда, оба этих метода требуют от исследователя гораздо более высокого уровня комплексного теоретического мышления, чем самый изощ-

ренный, хитроумный лабораторный эксперимент³⁵.

Для наглядности хочу привести пример. Стенли Мильграм в своей «интеракционистской»³⁶ лаборатории в Йельском университете провел интересное исследование (188, 1963)³⁷.

В исследовании участвовали 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет из Нью-Хейвена и его окрестностей. Мы выбрали людей с помощью рекламы и прямых предложений по почте. Общая совокупность включала самые различные профессии. Наиболее распространенные – это почтовые служащие, преподаватели вузов, продавцы, инженеры и рабочие. Образовательный уровень – от неполной средней школы до докторов наук. За участие в эксперименте

³⁵ Я обнаружил, что «интерпретативная» анкета является ценнейшим свидетельством при изучении неосознанных мотиваций в различных группах. Такая анкета анализирует скрытый смысл ответа на открытый вопрос и интерпретирует его с учетом характера личности. Я применил этот метод впервые в 1932 г. в одной из программ Франкфуртского института социальных исследований и повторно в 60-е гг. при составлении социального портрета маленькой мексиканской деревни. В первом случае со мной вместе работали Эрнст Шахтель и покойная Анна Шахтель, Поль Лазарсфельд. Я опубликовал только анкету и отдельные ответы (138, 1936). Второе исследование опубликовано полностью (101, 1970b). Вместе с Маккоби мы разработали вопросник для выяснения факторов, характеризующих некрофильскую личность, а Маккоби позже с успехом опробовал эту анкету при изучении различных социальных групп (164, 1972, с. 218–220).

³⁶ Интеракционизм – направление в социологии и психологии, придающее особое значение исследованию взаимодействия между людьми.

³⁷ Все последующие цитаты взяты из этой работы Мильграма (188, 1963). – *Примеч. ред.*

каждый получал 4,5 доллара. Им сообщалось заранее, что деньги они получают только за свое появление в лаборатории, независимо от дальнейших событий.

В каждом эксперименте принимали участие как минимум один совершенно «невинный», неопытный представитель и одна «жертва» (по выбору руководителя исследования). Мы должны были выдумать причину, чтобы объяснить неопытным испытуемым необходимость применения электрошока (на самом деле он не применялся, но подготовка была). Для прикрытия создавалась легенда об интересе исследователей к проблеме отношений между обучением и наказанием. Вот как звучала эта легенда:

«Мы *очень мало* знаем о воздействии наказания на обучение, ибо по этой проблеме практически нет научных исследований.

Так, например, мы не знаем, какая мера наказания дает наибольший результат в учебе; мы не знаем, существует ли различие в восприятии наказания: имеет ли значение для взрослого человека, кто его наказывает – тот, кто старше его или моложе, и многое другое.

Поэтому мы собрали здесь взрослых людей разных возрастов и профессий и предполагаем, что среди вас есть ученики и есть учителя.

Мы хотим узнать, каково влияние различных личностей друг на друга, когда одни выступают в роли обучающихся, а другие – в роли обучаемых, и, кроме того, какова роль наказания при обучении.

Я попрошу одного из вас сегодня вечером сыграть

здесь роль учителя, а другого – быть учеником.

Может быть, кто-то хочет сам быть учителем, а кто-то предпочитает быть учеником?»

Дальше испытуемые тянули жребий (бумажки из шляпы): кто будет учителем, а кто – учеником. Жеребьевка была так подстроена, что ничего не подозревающий всегда был учителем, а посвященные – всегда учениками. (На обеих бумажках было написано слово «учитель».) Сразу после жеребьевки учитель и ученик помещались в разные комнаты, причем ученика сажали на «электрический стул» и привязывали.

Экспериментатор объяснял, что ремни должны удерживать обучаемого от слишком резких движений во время шока или даже от бегства в соответствующей ситуации. Затем накладывался электрод на запястье обучаемого, которое предварительно смазывалось специальным вазелином «во избежание ожога и волдыря». Испытуемому было сказано, что электрод подключен к генератору шока, который стоит в соседней комнате (188, 1963, с. 372; ср.: 1974, с. 31–35).

...Из соседней комнаты испытуемому учителю дается приказ за каждый неправильный ответ выдавать обучаемому «порцию шока». Кроме того, – и это особенно важно – учителю предлагалось «после каждого неправильного ответа обучаемого передвигать регулятор силы тока вверх по шкале интенсивности на одно деление». Кроме того, перед тем как нажать на рычаг, он должен был вслух произнести число, соответствующее делению вольтметра. Таким образом,

испытываемый учитель должен был четко сознавать постоянно растущую интенсивность электрошока, которым он «наказывает» обучаемого... Во всех случаях обучаемому заранее дается набор парных ответов, среди которых три ошибочных приходится на один верный. При таких условиях обычно ученик не подает голоса или другого протестующего сигнала, пока уровень электрошока не достигнет 300 В. А когда сигнал достигает 300 В, ученик начинает бить кулаками в стенку. Экспериментатор слышит эти стуки. С этой минуты ответы обучаемого больше не идут по четырехответной схеме... Когда испытываемый дает знак, что не хочет больше работать, экспериментатор подбадривает его. Для этого у него есть целый набор просьб-требований – ровно столько, сколько нужно, чтобы заставить испытываемого продолжить работу.

Просьба 1. Пожалуйста, продолжайте.

Просьба 2. Эксперимент требует вашего дальнейшего участия.

Просьба 3. Ваше участие совершенно необходимо.

Просьба 4. У вас нет иного выбора, как продолжить работу.

Эти фразы предъявлялись последовательно по мере необходимости. Если даже четвертому требованию испытываемый не хотел подчиниться, эксперимент прекращался. Экспериментатор разговаривал одним и тем же размеренным, довольно вежливым тоном, и каждый раз, когда испытываемый начинал спотыкаться или медлить с выполнением приказа, экспериментатор

снова начинал выдвигать вышеназванный ряд требований.

Были и подбадривания *особого назначения*. Например, если испытуемый спрашивал, не скажется ли эксперимент на здоровье «ученика», то экспериментатор отвечал: «Даже если уколы электрошока доставляют болезненные ощущения, все равно кожный покров от этого не пострадает, так что спокойно работайте дальше». (Это дополнение к просьбам 2, 3, 4.) Если испытуемый говорил, что ученик больше не хочет работать, то наблюдающий отвечал: «Хочет этого ученик или нет, вы должны продолжать, пока ученик не выучит правильные ответы на все вопросы парного теста. Пожалуйста, продолжайте!» (188, 1963, с. 373; см.: 1974, с. 37–40).

Какие результаты дал этот эксперимент? Многие участники проявили признаки нервозности, особенно при увеличении доз электрошока. Во многих случаях *напряжение достигало такой степени, какая редко встречается в социально-психологических лабораторных испытаниях* (курсив мой. – Э. Ф.). Испытуемые потели, заикались, дрожали, кусали губы, стонали и сжимали кулаки так, что ногти впились в кожу. И это были скорее типичные реакции, чем из ряда вон выходящие.

Одним из признаков напряжения были периодические приступы смеха. У 14 из сорока человек этот нервный смех был регулярно повторяющимся,

хотя смех в подобной ситуации кажется совершенно неуместным, почти безумным. У трех человек приступы смеха были неуправляемыми, а у одного испытуемого начались такие конвульсии, что эксперимент пришлось прервать. Испытуемый 46 лет, книготорговец, был в явном смущении из-за своего неуправляемого и «непристойного» поведения. В последующей беседе почти каждый выражал сожаление и заверял, что он не садист и улыбка вовсе не означала, что мучения жертвы доставляли ему хоть малейшее удовольствие (188, 1963, с. 375).

Вопреки первоначальным ожиданиям ни один из сорока человек не прекратил работу прежде, чем уровень электрошока достигал 300 В, а жертва начинала барабанить в стенку. Только пятеро из сорока отказались подчиниться требованию экспериментатора и включить ток свыше 300 В. Пятеро сами увеличили дозу сверх трехсот: двое до 330 В, а остальные трое – до 345, 360 и 375 В. Таким образом, 14 человек (35 %) оказали сопротивление экспериментатору.

А «послушные» нередко слушались лишь под большим давлением и проявляли почти такой же страх, как и сопротивляющиеся. А после окончания эксперимента многие из послушных выпускали вздох облегчения, терли глаза и лоб, нервно хватались за сигареты, кое-кто виновато качал головой. И только несколько испытуемых в течение всего эксперимента не проявили никаких признаков беспокойства (188, 1963,

При обсуждении эксперимента автор констатировал два удивительных вывода:

Первый касается непреодолимой тенденции к повиновению. Испытуемые с детства привыкли, что причинять боль другому человеку – это тяжелый нравственный проступок. И все же 26 человек переступили через этот нравственный императив и послушно исполняли приказы авторитарной личности, хотя она и не обладала никакой формальной властью.

Второй непредусмотренный эффект связан с чрезмерным напряжением. Можно было ожидать, что испытуемые либо прекратят выполнять задание, либо будут продолжать – как кому подскажет совесть. Но произошло нечто совершенно иное. Дело дошло до крайней степени напряженности и огромных эмоциональных перегрузок. Один наблюдатель записал: «Я видел, как довольно развязный, уверенный в себе предприниматель средних лет, улыбаясь, вошел в лабораторию. Через 20 минут он превратился в дрожащее, заикающееся, жалкое существо, похожее на нервного больного. Он постоянно тербил мочку уха, потирал руки. А один раз ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: “О Господи, когда же это кончится?!” И тем не менее он прислушивался к каждому слову экспериментатора и подчинялся ему до конца» (188, 1963, с. 376).

На самом деле этот эксперимент чрезвычайно интересен

не только для изучения конформизма, но и для изучения жестокости и деструктивности. Это напоминает ситуации реальной жизни, когда, к примеру, выясняется вина солдата, совершавшего чудовищные преступления по приказу командира. Может быть, это касается и немецких генералов, осужденных в Нюрнберге военных преступников, или лейтенанта Келли и некоторых его подчиненных во Вьетнаме?²³

Я полагаю, что в большинстве случаев из эксперимента нельзя делать выводов относительно реальной жизни. Психолог был в эксперименте не просто авторитетом, а представителем науки и одного из ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами высшего образования в США. Принимая во внимание, что наука в современном индустриальном обществе ценится выше всего на свете, среднему американцу трудно представить, что от ученого может исходить безнравственный приказ. Если бы Господь Бог не запретил Аврааму убить сына, он бы это сделал, как это делали миллионы родителей, приносившие своих детей в жертву. Для верующего ни Бог, ни его современный эквивалент, каким является наука, не могут совершить несправедливость. Поэтому повиновение, обнаруженное в эксперименте Милльграма, не должно вызывать удивления. Скорее, можно было бы удивиться непокорности 35 % участников.

Не должна удивлять и возникшая степень напряженности. Экспериментатор ожидал, «что испытуемые сами прекратят выполнять задание по велению своей совести». Но разве это

тот способ, каким люди в жизни выходят из конфликтных ситуаций? Разве не в том состоит особенность и трагизм человеческого поведения, что человек пытается не ставить себя в конфликтную ситуацию? Это означает, что он не осознает своего выбора между тем, что ему диктуют жадность и страх, и тем, что ему запрещает его совесть? На деле человек с помощью рационализации устраняется от осознания конфликта и конфликт проявляется неосознанно в форме сильного стресса, невротических симптомов или чувства вины по совершенно иным, придуманным причинам. И в этом отношении Мильграмовы подопечные вели себя вполне нормально.

Однако здесь возникают другие интересные вопросы. Мильграм считает, что его испытуемые находятся в конфликтной ситуации, ибо они не видят выхода из противоречия между авторитарным приказом и образцами поведения, внушенными им в раннем детстве, суть которых «не навреди другому человеку».

Но разве так происходит на самом деле? Разве мы научились «не наносить ущерба другим людям»? Может быть, этой заповеди и учат в церковной школе, но в школе реальной жизни детей, напротив, учат понимать и отстаивать свои преимущества, даже в ущерб другим. И потому конфликт, который предполагает Мильграм в этой ситуации, не столь уж велик.

Я вижу важнейший результат Мильграмова эксперимента

в том, что он обнаружил сильную реакцию *против* жестокости. Разумеется, 65 % испытуемых удалось поставить в такие условия, что они вели себя жестоко, но при этом в большинстве случаев они отчетливо проявляли реакцию возмущения или неприятия садистского типа поведения. К сожалению, автор не приводит нам точных сведений о тех людях, которые в продолжение всего эксперимента не проявляли признаков беспокойства. Как раз очень интересно было бы для понимания человеческого поведения узнать об этих людях больше подробностей. Очевидно, они не испытывали ни малейших неудобств, совершая жестокие действия. И первый вопрос, возникающий здесь: почему? Возможен, например, такой ответ, что страдание других доставляло им удовольствие и они не чувствовали ни малейших угрызений совести, ибо их поведение было санкционировано авторитетом свыше. Есть и другая возможность: если речь идет о сильно отчужденном или нарциссическом типе личности, то такие люди вообще невосприимчивы ко всему, что касается других людей. А может быть, это были «психопаты», которые полностью лишены нравственных «тормозов». Те, у кого проявились различные симптомы стресса и страха, – вот это, должно быть, люди с антисадистским и антидеструктивным характером. (Если бы после эксперимента было проведено глубинно-психологическое интервьюирование, то была бы возможность выяснить характерологические различия этих людей и можно было бы дать обоснованные гипотезы о поведе-

нии этих людей в будущем.)

Важнейший результат эксперимента сам Милльграм оставляет почти без внимания, а именно наличие совести у большинства испытуемых и их переживание по поводу того, что послушание заставило их действовать вопреки их совести. А если кто-то захочет интерпретировать этот эксперимент как доказательство того, что человека легко сделать бесчеловечным, то я подчеркиваю, что реакции испытуемых говорят о прямо противоположном, т. е. о наличии серьезных внутренних сил личности, для которых жестокое поведение невыносимо. Это подводит нас к тому, что при изучении жестокости в реальной жизни очень важно учитывать не только жестокое поведение, но и (часто неосознанные) угрызения совести тех, кто подчинился авторитарному приказу. (Нацисты были вынуждены применить хитроумнейшую систему сокрытия своих преступлений, чтобы заглушить голос совести у простых немецких граждан.)

Эксперимент Милльграма хорошо иллюстрирует разницу между сознательными и бессознательными аспектами поведения, хотя сам он их и не принимает в расчет.

Еще один эксперимент оказался в связи с этим весьма убедительной иллюстрацией к проблеме причин жестокости.

Первый отчет об этом эксперименте – совсем коротенькое сообщение д-ра Цимбардо в 1972 г. (289, 1972). Позднее появилась более подробная публикация (115, 1973), но я буду цитировать по рукописи, любезно предоставленной мне д-

ром Цимбардо.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы изучить поведение нормальных людей в ситуациях, близких к тюремному заключению, где одни испытуемые выступали в роли заключенных, а другие – надзирателей. Автор считает, что ему удалось этим экспериментом подтвердить общий тезис, что под влиянием определенных обстоятельств любой человек может дойти до какого угодно состояния, вопреки всем своим представлениям о нравственности, вопреки личной порядочности и всем социальным принципам, ценностям и нормам. Короче говоря, в этом эксперименте большинство испытуемых, игравших роль «надзирателей», превращались на глазах в жесточайших садистов, а те, кто играл заключенных, демонстрировали жалкое зрелище несчастных, запуганных и подневольных людей. У некоторых «заключенных» так быстро развились серьезные симптомы психической неполноценности, что пришлось даже через несколько дней выводить их из эксперимента. На самом деле реакции обеих групп испытуемых были столь интенсивны, что запланированный на две недели эксперимент пришлось закончить через шесть дней.

Я сомневаюсь, что данный эксперимент доказывает выше-названный бихевиористский тезис, и приведу свои аргументы. Но сначала я должен сообщить читателю некоторые подробности эксперимента. Через газетную рекламу был организован конкурс студентов, желавших за 15 долларов в день принять участие в эксперименте с целью психологического

исследования жизни в тюремных условиях.

Желающие должны были заполнить подробнейшую анкету о своем семейном положении, происхождении, здоровье, с сообщением биографических фактов, а также рассказом о психопатологических наклонностях и т. д. Каждый заполнивший анкету проходил затем собеседование с одним из двух руководителей исследования. В конце концов были отобраны 24 человека, которые выглядели наиболее здоровыми в физическом и духовном плане и казались менее всего способными на антисоциальные поступки. Половина из них наугад была определена на роль «надзирателей», а вторая – на роль заключенных (115, 1973, с. 73).

Последняя выборка испытуемых за день до начала эксперимента была подвергнута тестовому испытанию. По мнению авторов проекта, все участники были нормальными и не имели никаких садистских или мазохистских наклонностей.

Тюрьма была устроена в длинном коридоре подвала института психологии Стенфордского университета. Всем испытуемым было объявлено, что

...они могут сыграть роль надзирателя или заключенного, и все добровольно согласились в течение двух недель играть одну из этих ролей и получать за это 15 долларов в день. Они подписали договор, в котором оговаривались условия их жизни – минимальная одежда, еда, питье, медицинское обеспечение и т. д.

В договоре было четко оговорено, что те, кто

согласился быть заключенным, будут находиться под надзором (не будут оставаться никогда в одиночестве) и что во время этого заключения они будут лишены некоторых гражданских прав и могут быть наказаны (за исключением телесных наказаний). Больше никакой информации о своем будущем пребывании в тюрьме они не получили. Тем, кто был окончательно выбран на эту роль, было сообщено по телефону, что в определенное воскресенье (день начала эксперимента) они должны быть дома (115,1973, с. 74).

Лица, избранные на роль надзирателей, приняли участие в собеседовании с «директором тюрьмы» (дипломированным преподавателем вуза) и с «инспектором» (главным экспериментатором). Им сказали, что в их задачу входит «поддержание некоторого порядка в тюрьме». Важно знать, что понимали под «тюрьмой» авторы исследования. Они употребляли это слово не в прямом его значении, т. е. не как место пребывания правонарушителей, а в специфическом значении, которое отражает условия в некоторых американских тюрьмах.

Мы не собирались буквально воспроизводить все условия какой-либо американской тюрьмы, а скорее хотели показать функциональные связи. Из этических, нравственных и практических причин мы не могли запретить наших испытуемых на неопределенное время; мы не могли угрожать им тяжелыми физическими наказаниями, не могли

допустить проявлений гомосексуализма или расизма и других специфических аспектов тюремной жизни. И все же мы думали, что нам удастся создать ситуацию, которая будет настолько похожа на реальный мир, что нам через ролевую игру удастся в какой-то мере проникнуть в глубинную структуру личности. Для этой цели мы позаботились о том, чтобы в эксперименте были представлены разные профессии и судьбы, и тогда мы сможем вызвать у испытуемых вполне жизненные психологические реакции – чувства могущества или бессилия, власти или подневольности, удовлетворения или фрустрации, права на произвол или сопротивления авторитарности и т. д. (115, 1973, с. 71).

Читателю должно быть понятно, что методы, примененные в эксперименте, были ориентированы на систематическое болезненное унижение личности – это было запланировано заранее.

Каково было обращение с «заключенными»? С самого начала их предупредили, чтобы они готовились к эксперименту.

«Арест» происходил без предупреждения на квартире с помощью государственной полиции. Полицейский объявил каждому, что он подозревается в краже или вооруженном нападении. Каждого тщательно обыскали (нередко в присутствии любопытных соседей), надели наручники, проинформировали об их законных правах и предложили спуститься вниз, чтобы в полицейской машине проехать в полицию.

Там состоялась обычная процедура: снятие отпечатков, заполнение анкеты, и сразу арестованные были помещены в камеры. Каждому при этом завязали глаза и проводили в сопровождении экспериментатора и «охранника» в экспериментальную тюрьму. Во всей процедуре официальные власти занимали самую серьезную позицию и не отвечали ни на один из возникавших у испытуемых вопросов.

По прибытии в экспериментальную тюрьму каждого арестованного раздели до нитки, в голом виде поставили во дворе и побрызгали дезодорантом, на котором было написано: «Средство от вшей». Затем каждый был одет в арестантскую одежду, сфотографирован в профиль и в фас и отправлен в камеру под спокойно отданный приказ вести себя тихо (115, 1973, с. 76).

Поскольку «арест» был произведен руками настоящей полиции, испытуемые должны были думать, что они и впрямь подозреваются в каком-то деянии, особенно после того, как на заданный вопрос об эксперименте чиновники не дали никакого ответа. Что должны были при этом думать и чувствовать испытуемые? Откуда им было знать, что «арест» был «понарошку», а полицию привлекли для того, чтобы применением силы и ложными обвинениями придать эксперименту больше правдоподобности?

Одежда арестованных была своеобразной, она состояла из хлопчатобумажной куртки с черным

номерным знаком на груди и на спине. Под «костюмом» не было никакого нижнего белья. На щиколотку надевалась тонкая цепочка, застегнутая на замок. На ноги выдавались резиновые сандалии, а на голову – тонкая, плотно прилегающая и закрывающая все волосы шапочка из нейлонового чулка... Эта одежда не только лишала арестованных всякой индивидуальности, она должна была унижить, ибо она была символом зависимости. О подневольности постоянно напоминала цепочка на ноге, она и во сне не давала покоя... А шапочка из чулка делала всех людей на одно лицо, как в армии и тюрьме, когда мужчин стригут наголо. Безобразные куртки не по размеру стесняли движения, а отсутствие белья вынуждало арестованных менять походку и походить скорее на женщин, чем на мужчин... (115, 1973, с. 75).

Как же вели себя «заключенные» и «надзиратели», каковы были их реакции на протяжении шести экспериментальных дней?

Самое ужасное впечатление произвело на всех участников тяжелейшее состояние пяти заключенных, которые кричали, буйствовали или демонстрировали приступы жесточайшей депрессии, животного страха и в результате были выведены из эксперимента. У четырех из них симптомы ненормального состояния начались на второй день заключения. Пятый же весь покрылся аллергической сыпью нервного происхождения. Когда через 6 дней

эксперимент прекратился раньше срока, все оставшиеся заключенные были безмерно счастливы (115, 1973, с. 81).

Итак, все «заключенные» проявили приблизительно одинаковые реакции на ситуацию, в то время как «надзиратели» дали более сложную картину:

Казалось, что решение об окончании эксперимента их буквально огорчило, ибо они так вошли в роль, что им явно доставляла удовольствие неограниченная власть над более слабыми и они не хотели с ней расставаться (115, 1973, с. 81).

Авторы эксперимента так описывают поведение «надзирателей»:

Никто из них ни разу не опоздал на смену, а некоторые даже добровольно соглашались на вторую смену без оплаты.

Патологические реакции в обеих группах испытуемых доказывают высокую степень зависимости личности от социально-профессиональной среды. Но были и отчетливые индивидуальные отклонения от средней нормы адаптации к новым условиям. Так, половина заключенных нормально переносила угнетающую атмосферу тюрьмы и не всех надзирателей захватил дух враждебности по отношению к заключенным. Некоторые держались строго, но «в рамках инструкции». Однако некоторые проявили такое рвение, которое далеко выходило за рамки

предписанной им роли: они мучили заключенных с изощренной жестокостью... совсем немногие проявили пассивность и лишь изредка применяли к заключенным минимально необходимые меры принуждения (115, 1973, с. 81).

Жаль, что у нас нет более точной информации, чем «некоторые», «несколько», «совсем немногие». Мне это представляется совершенно лишней скрытностью и недостатком точности, легче было бы назвать число. Тем более что в первой краткой публикации в «Trans Action» были приведены более точные данные, существенно отличающиеся от того, что мы только что прочли. Там процент садистски настроенных «надзирателей», применяющих изощренные методы унижения заключенных, составлял чуть ли не одну треть. А остаток был поделен на две категории: 1) строгие, но честные; 2) хорошие надзиратели с точки зрения заключенных, ибо они были доброжелательны, не отказывали в мелких услугах.

Эти характеристики очень сильно отличаются от того, что «немногие оставались пассивными и редко применяли меры принуждения».

Подобные расхождения и недостаток точности данных и формулировок тем досаднее, что с ними авторы связывают главный и решающий тезис эксперимента. Они надеялись доказать, что сама ситуация всего за несколько дней может превратить нормального человека либо в жалкое и ничтожное существо, либо в безжалостного садиста. Мне кажется,

что эксперимент как раз доказывает обратное, если он вообще что-нибудь доказывает. Хотя общая атмосфера тюрьмы, по мысли исследователей, должна была быть унижающей человеческое достоинство (что наверняка сразу поняли «надзиратели»), все-таки две трети «надзирателей» не проявили никаких симптомов садистского поведения, и для меня это кажется вполне убедительным доказательством того, что человек не так-то легко превращается в садиста под влиянием соответствующей ситуации.

Все дело в том, что существует огромная разница между поведением и характером. И необходимо различать между тем, что кто-то *ведет* себя соответственно садистским правилам, и тем, что этот кто-то, проявляя жестокость к другим людям, находит в этом удовольствие. Тот факт, что в данном эксперименте такое различие не проводилось, существенно снижает его ценность.

На самом деле разграничение это имеет значение и для второй половины основного тезиса, ведь предварительное тестовое обследование показало, что испытуемые не имели ни садистских, ни мазохистских наклонностей, т. е. тесты не выявили таких черт характера. Что касается психологов, делающих ставку на явное поведение, то для них эта констатация может считаться истинной. А психоаналитику она представляется не очень-то убедительной. Ведь черты характера зачастую совершенно не осознаются и не могут быть раскрыты с помощью обычных психологических тестов. Что каса-

ется прожективных методик, как, например, тест Роршаха, то все зависит от их интерпретации; в действительности с помощью этих тестов докопаться до неосознанных пластов психики в состоянии лишь те исследователи, которые имеют большой опыт изучения бессознательных процессов.

Есть еще одна причина для того, чтобы считать выводы о «надзирателях» спорными. Данные индивиды только потому и были избраны, что в соответствующих тестах проявили себя как более или менее нормальные, обычные люди, не обнаружившие садистских наклонностей. Но этот результат находится в противоречии с утверждением, что среди обычного населения процент потенциальных садистов не равен нулю. Некоторые исследования доказали это (101, 1970; 1979), а опытный наблюдатель может установить это и без всяких тестов и анкет. Но каков бы ни был процент личностей с садистскими наклонностями среди нормального населения, полное отсутствие данной категории, установленное в предваряющих эксперимент тестах, скорее, свидетельствует о том, что применены были тесты, не подходящие для выяснения этой проблемы.

Некоторые неожиданные результаты описанного эксперимента можно объяснить другими факторами. Авторы утверждают, что испытуемым было трудно отличить реальность от роли, и на этом основании делают вывод, что виновата сама ситуация. Это, конечно, верно, но ведь такая ситуация была заранее запланирована руководителями эксперимента. Сна-

чала «арестованные» были сбиты с толку и запутаны. Условия, сообщенные им при подписании договора, резко отличались от того, что они увидели позже. Они были совершенно не готовы оказаться в атмосфере, унижающей человеческое достоинство. Но еще важнее для понимания возникшей путаницы привлечение к работе полиции. Поскольку полицейские власти чрезвычайно редко принимают участие в экспериментальных психологических играх, постольку «заключенным» было в высшей степени трудно отличить действительность от игры.

Из отчета следует, что они даже не знали, связан ли арест с экспериментом или нет, а чиновники отказались отвечать на этот вопрос. Спрашивается, есть ли хоть один нормальный человек, которого подобная ситуация не привела бы в полное смятение? После этого любой бы приступил к эксперименту с мыслью, что его «подставили» и «заложили».

Почему «арестованные» не потребовали немедленного прекращения игры? Авторы не дают нам ясного объяснения того, как они объяснили участникам эксперимента условия выхода из тюрьмы. Я, по крайней мере, не нашел каких-либо свидетельств того, что их предупредили об их праве выхода из эксперимента, если он станет для них невыносимым. И действительно, «надзиратели» силой заставляли оставаться на местах тех, кто хотел сбежать. У них, вероятно, было такое впечатление, что они должны для этого получить разрешение от специальной комиссии по освобождению... Одна-

ко авторы пишут следующее:

Одно из наиболее запоминающихся событий произошло в тот момент, когда мы слышали ответы пяти досрочно освобождаемых заключенных. На вопрос руководителя об отказе от денежного вознаграждения трое сразу сказали, что согласны отказаться от всех заработанных денег. Если вспомнить, что единственным мотивом участия в эксперименте с самого начала был заработок, то, конечно, удивительно, что уже через четыре дня они готовы были полностью отказаться от денег ради свободы. Однако еще удивительнее было то, что после такого заявления каждый из них встал и позволил «конвоиру» увести себя в камеру, ибо им сообщили, что возможность их освобождения необходимо обсудить с руководством. Если бы они считали себя только «испытуемыми», которые за деньги участвуют в эксперименте, то для них инцидент был бы исчерпан и они считали бы себя вправе просто уйти. Однако к тому времени ощущение подневольности стало таким сильным, а реквизит театральной тюрьмы так здорово походил на реальную, что они не могли вспомнить в этот момент, что единственный мотив их пребывания здесь больше не имеет силы; и потому они послушно вернулись в камеру, чтобы там терпеливо дожидаться, когда тюремщики решатся досрочно отпустить их домой (115, 1973, с. 93).

Разве они могли действительно с легкостью выйти из иг-

ры? Почему же им сразу четко не сказали: «Кто из вас захочет выйти из игры, может сделать это в любой момент, только тогда он потеряет свой заработок»? Если бы они были об этом информированы и все-таки оставались бы ждать решения властей, то автор имел бы право говорить об их конформности. Но этого не было. Им дали ответ в типично бюрократической формулировке, когда ответственность перекладывается на кого-то наверху, из чего однозначно следовало, что «арестованные» не имеют права уйти.

Знали ли «арестованные» в действительности, что речь идет только об эксперименте? Это зависит от того, что здесь надо понимать под словом «знать» и какое воздействие на сознание испытуемых оказала ситуация ареста, когда все умышленно запутали настолько, что можно было запросто забыть, кто есть кто и что есть что.

Помимо недостатка точности и критической самооценки, у эксперимента есть еще один недостаток, а именно тот, что результаты его не были перепроверены в обстановке реальной тюрьмы. Разве большинство заключенных в самых плохих американских тюрьмах содержатся в рабских условиях, а большинство надзирателей являются жесточайшими садистами? Авторы приводят всего лишь одно свидетельство бывшего заключенного и одного тюремного священника, в то время как для доказательства столь важного тезиса, на который они замахнулись, не грех было бы провести целую серию проверок, может быть, даже систематический опрос

многих бывших заключенных. Не говоря уже о том, что они обязаны были вместо общих рассуждений о «тюрьмах» привести точные данные о процентном соотношении обычных тюрем и тех, которые известны особо унижительными условиями и обстановку которых хотели воспроизвести экспериментаторы.

То, что авторы не потрудились перепроверить свои выводы на реальных жизненных ситуациях, тем более досадно, что существует обширнейший материал о самой чудовищной тюрьме, какую можно увидеть только в самом страшном сне, – я имею в виду гитлеровский концлагерь.

Что касается проблемы спонтанности садизма эсэсовских надзирателей, то она еще не была систематически исследована. При моих ограниченных возможностях в получении данных о проявлении спонтанного садизма у надзирателей (т. е. такого поведения, которое выходит за рамки инструкций и мотивировано садистским наслаждением), судя по опросам бывших заключенных, разброс оценок очень велик – от 10 до 90 %; причем более низкие цифры даны по показаниям бывших политзаключенных³⁸. И чтобы внести ясность в эту шкалу оценок, надо было бы провести систематическое исследование садизма надзирателей в концлагерях. Для такого исследования можно использовать разнообразный материал, например:

³⁸ Мне их сообщили лично Х. Брандт и профессор Г. Симонсон, которые провели много лет в концлагерях как политзаключенные (43, 1967).

1. Систематическое интервьюирование бывших узников концлагерей и ранжирование их высказываний по возрасту заключенных, причинам и длительности ареста и другим характерным показателям, а также интервьюирование бывших надзирателей³⁹.

2. «Косвенные» показатели; например, введение с 1939 г. системы «подготовки» заключенных во время длительных железнодорожных перевозок по пути в концлагерь (система приручения и дрессировки, когда их морили голодом, били, подвергали чудовищным унижениям). Надзиратели из СС выполняли эти и другие садистские приказы, не испытывая ни малейшего сострадания. Но позже, когда заключенных перевозили по железной дороге из одного лагеря в другой, их уже никто не трогал, ибо они попадали в разряд «старых узников» (34, 1964, с. 176). Если кто-то из надзирателей хотел удовлетворить свои садистские наклонности, он мог это делать сколько душе угодно, не страшась ни в коей мере наказания⁴⁰. И то, что это случалось не очень часто, говорит лишь о невысоком в норме проценте людей с садистскими наклонностями. Что касается поведения заключенных, то данные из концлагерей опровергают главный тезис Хейни, Бэнкса и Цимбардо о том, что индивидуальные различия в воспитании, представления о нравственных нормах и ценностях

³⁹ Я знаю, что у д-ра Штайнера уже есть готовый материал.

⁴⁰ Надзиратель должен был писать письменное объяснение только в том случае, если заключенный умирал от побоев.

утрачивают всякое значение перед лицом обстоятельств и под влиянием окружения. Наоборот, сравнение положения аполитичных заключенных из среднего класса (особенно евреев) и заключенных с твердыми политическими или религиозными убеждениями показало, что ценностные представления и убежденность решающим образом определяли различные реакции заключенных на совершенно идентичные условия жизни в лагере.

Бруно Беттельхайм приводит очень живой и глубокий анализ этих различий:

Неполитические заключенные из среднего класса составляли в концлагере небольшую группу и были менее всех остальных в состоянии выдержать первое шоковое потрясение. Они буквально не могли понять, что произошло и за что на них свалилось такое испытание. Они еще сильнее цеплялись за все то, что раньше было важно для их самоуважения. Когда над ними издевались, они рассыпались в заверениях, что никогда не были противниками национал-социализма. Они не могли понять, за что их преследовали, коль скоро они всегда были законопослушными. Даже после несправедливого ареста они разве что в мыслях могли возразить своим угнетателям. Они подавали прошения, ползали на животе перед эсэсовцами. Поскольку они были действительно чисты перед законом, они принимали все слова и действия СС как совершенно законные и возражали только против того, что они сами стали жертвами; а преследования

других они считали вполне справедливыми. И все это они пытались объяснить, доказывая, что произошла ошибка. Эсэсовцы над ними потешались и издевались жестоко, наслаждаясь своим превосходством. Для этой группы в целом всегда большую роль играло признание со стороны окружающих, уважение к их социальному статусу. Поэтому их больше всего убивало, что с ними обращаются, как с «простыми преступниками».

Поведение этих людей показало, насколько неспособно было среднее сословие немцев противопоставить себя национал-социализму. У них не было никаких идейных принципов (ни нравственных, ни политических, ни социальных), чтобы оказать хотя бы внутреннее сопротивление этой машине. И у них оказался совсем маленький запас прочности, чтобы пережить внезапный шок от ареста. Их самосознание покоилось на уверенности в своем социальном статусе, на престижности профессии, надежности семьи и некоторых других факторах...

Почти все эти люди после ареста утратили важные для своего класса ценности и типичные черты, например самоуважение, понимание того, что «прилично», а что нет, и т. д. Они вдруг стали совершенно беспомощными, и тогда вылезли наружу все отрицательные черты, характерные для этого класса: мелочность, склоность, самовлюбленность. Многие из них страдали от депрессии и отсутствия отдыха и без конца хныкали. Другие превратились в жуликов и обкрадывали своих товарищей по камере

(обмануть ээсовца было делом почетным, а вот обокрасть своего считалось позором). Казалось, они утратили способность жить по своему собственному образу и подобию, а старались ориентироваться на заключенных из других групп. Некоторые стали подражать уголовникам.

Очень немногие взяли себе в пример политических заключенных, которые, как правило, вели себя наиболее пристойно, хотя и не во всем были бесспорно правы. Некоторые попытались пристроиться к заключенным из высшего сословия. Но больше всего было тех, кто рабски подчинился власти СС, даже не гнушаясь порой такими поручениями, как доносительство и слежка, что обычно было делом уголовников. Но и это не помогло им, ибо гестапо хоть и вынуждало людей к предательству, но предателей в то же время презирало (34, 1964, с. 132–134).

Беттельхайм дает здесь очень тонкий анализ чувства собственного достоинства типичных представителей среднего класса и их потребности в идентификации: их самосознание питалось престижностью их социального положения, а также правом отдавать приказы. Когда же эти опоры у них были отняты, они сразу утратили весь свой моральный дух (как воздух, выпущенный из воздушного шарика). Беттельхайм показывает, почему эти люди были так деморализованы и почему многие из них стали покорными рабами и даже шпионами на службе у СС. Но необходимо назвать еще

одну важную причину такого превращения: эти неполитические заключенные не могли уловить, полностью понять и оценить ситуацию; они не могли понять, за что они оказались в концентрационном лагере, они не были преступниками, а в правоверном сознании уместается лишь одна мысль: только «преступники» заслуживают наказания. И это непонимание ситуации приводило их в полное смятение и как следствие – к душевному надлому.

Политические и религиозные заключенные реагировали на те же самые условия совершенно иначе.

Для политических, которые подвергались преследованиям СС, арест не был громом среди ясного неба, они были к нему психологически готовы. Они проклинали свою судьбу, но при этом принимали ее как нечто соответствующее самому ходу вещей. Они, естественно, были озабочены тем, что их ждет, и, конечно, судьбой своих близких, однако они, без сомнения, не чувствовали себя униженными, хотя, как и другие, страдали от ужасных условий лагеря.

Свидетели Иеговы все оказались в концлагере за отказ служить в армии²⁴. Они держались едва ли не еще более стойко, чем политические. Благодаря сильным религиозным убеждениям, они не утратили своей личности, поскольку единственная их вина в глазах СС состояла в нежелании служить с оружием в руках, им часто предлагали свободу, если они все-таки согласятся служить вопреки своим убеждениям, но они

стойко отвергали такие предложения.

Иеговисты, как правило, были людьми достаточно ограниченными и стремились только к одному – обратить других в свою веру. В остальном же они были хорошими товарищами, надежными, воспитанными и всегда готовыми прийти на помощь. Они почти не вступали в споры и ссоры, были примерными работниками, и потому из них нередко выбирали надзирателей, и тогда они добросовестно подгоняли заключенных и настаивали, чтобы те выполняли работу качественно и в срок. Они никогда не оскорбляли других заключенных, всегда были вежливы, и все равно эсэсовцы предпочитали их в качестве старших за трудолюбие, ловкость и сдержанность (34, 1964, с. 135).

Хотя Беттельхайм дает очень краткое, схематичное описание личных качеств политзаключенных⁴¹, из него все равно видно, что заключенные с твердыми убеждениями совершенно иначе реагировали на условия существования в концлагере, чем те, у кого таких убеждений не было. Этот факт находится в противоречии с бихевиористским тезисом, который Хейни, Бэнкс и Цимбардо пытались доказать своим экспериментом.

Естественно, возникает вопрос: какой смысл в подобных «искусственных» экспериментах, когда есть столько материала для «естественных» экспериментов? Этот вопрос звучит

⁴¹ Гораздо более подробное описание можно найти в работе Х. Брандта (43, 1967), к которой Фромм написал предисловие.

еще более остро не только потому, что такие эксперименты страдают неточностью, но еще и потому, что экспериментальная ситуация всегда имеет тенденцию к искажению «реальной жизни».

Но что мы подразумеваем под «реальной жизнью»?

Быть может, будет лучше, если я приведу какие-то примеры, вместо того чтобы давать формальное определение и вводить наш разговор в философское и эпистемологическое русло.

Во время маневров объявляют, что имеется определенное число «убитых» солдат и несколько «подбитых» орудий. Это соответствует правилам игры, но для солдат как личностей и для орудий как предметов из этого ничего не следует; «убитый» солдат рад, что он получает некоторую передышку, да и «подбитое» орудие будет продолжать свою службу. Самое страшное, что может грозить проигравшей сражение стороне, – это то, что у генерала могут быть трудности в служебной карьере. Иными словами: то, что происходит на учениях, не имеет никаких последствий для реальной жизни большинства участников.

Игра на деньги – другой вариант того же явления. Большинство увлекающихся картами, рулеткой или скачками людей очень четко разделяют «игру» и «жизнь»; они поднимают ставки лишь до того уровня, который не угрожает серьезными последствиями их благосостоянию, т. е. не имеет серьезных последствий.

Зато меньшинство, реальные «игроки», поднимают ставки до уровня, где проигрыш серьезно угрожает их экономическому положению. Но «игрок» *«играет»* не в прямом смысле; на самом деле он осуществляет на практике одну из реальных и весьма драматических форм жизни.

Данная концепция соотношения «игры» и «реальности» касается такого вида спорта, как фехтование: никто из партнеров не рискует жизнью. Если же ситуация поединка организована таким образом, что кто-то должен погибнуть, то мы говорим уже не о спорте, а о дуэли⁴².

Если бы «испытуемые» в психологическом эксперименте абсолютно ясно представляли себе, что все это только игра, все было бы очень просто. Но во многих экспериментах (включая и эксперимент Милльграма) их обманывают. Что же касается эксперимента с тюрьмой, то все было подстроено так, чтобы испытуемые как можно меньше знали о правилах эксперимента, более того, чтобы они вообще не могли понять, что арест — это всего лишь начало эксперимента. А то, что многие исследователи ради удобства проведения эксперимента вообще работают с совершенно ложными фактами, служит еще одним доказательством их чрезвычайно низкой результативности: участники эксперимента пребывают в полном смятении, что очень сильно снижает критическую

⁴² М. Маккоби своим исследованием о значении игровой установки для формирования личности американца привлек мое внимание к динамике «игровой» ситуации (см.: 164, 1972; 1976).

способность их суждений⁴³.

В «реальной жизни» мы знаем, что наше поведение всегда влечет за собой какие-то последствия. У кого-нибудь может возникнуть фантазия убить человека, но такая фантазия редко приводится в исполнение. У многих подобные фантазии появляются во сне, ибо сон не имеет последствий. Эксперимент, в котором испытуемые не обязательно ощущают жизненную реальность происходящего, скорее может вызвать реакции, которые обнаруживают бессознательные тенденции, но вовсе не является однозначно симптомом того, как поведут себя эти люди в действительной жизни⁴⁴. Есть еще одна немаловажная причина, по которой необходимо точно знать, является ли данное событие реальностью или игрой. Как известно, *реальная опасность* мобилизует «аварийную энергию» организма – физическую силу, ловкость, выносливость и т. д., причем нередко они достигают такой степени, которой человек и не подозревает у себя. Но эта

⁴³ Невольно приходит на ум главная черта телевизионной рекламы, в которой стирается грань между фантазией и реальностью и тем самым достигается суггестивное воздействие. Зритель «знает», что употребление данного сорта мыла не произведет никаких чудесных перемен в его жизни, но другой половиной своего Я он верит в такое чудо. И происходит раздвоение личности между реальностью и иллюзией.

⁴⁴ Именно по этой причине приснившийся человеку сон об убийстве позволяет лишь квалифицировать факт наличия подобного импульса, однако он не дает возможности фиксировать более точно в количественных характеристиках интенсивность этого импульса и возможность его проявления. Только многократное повторение может способствовать более точному анализу.

аварийная энергия мобилизуется лишь тогда, когда весь организм ощущает реальность опасности на нейрофизиологическом уровне; это не имеет ничего общего с повседневными человеческими страхами, которые не вызывают никаких защитных сил, а только оставляют озабоченность и усталость.

Сходная ситуация возникает, например, когда человеку приходится мобилизовывать все свои моральные силы, совесть и силу воли, — здесь тоже очень большое значение имеет различие между реальностью и фантазией, ибо названные качества вовсе не проявятся, если не будет уверенности, что все происходящее очень серьезно и имеет место на самом деле.

Кроме всего сказанного, в лабораторном эксперименте вызывает сомнение роль руководителя. Он руководит фиктивной реальностью, которую сам сконструировал, и теперь осуществляет свою власть над ней. В известном смысле *он сам* является для испытуемого представителем реальности; уже поэтому он действует на испытуемых точно так же, как гипнотизер на своих клиентов. Ведь руководитель до известной степени освобождает испытуемых от собственной воли и от ответственности и тем самым гораздо быстрее формирует их готовность подчиняться ему, чем это имело бы место в любой другой негипнотической ситуации.

И наконец, последнее. Разница между мнимым заключенным и настоящим настолько велика, что, по сути дела, невозможно провести мало-мальски приемлемую аналогию и де-

лать серьезные выводы на основе эксперимента. Для заключенного, который попал в тюрьму за определенное деяние, ситуация в высшей степени реальна. Он знает, за что арестован (вопрос о справедливости или несправедливости наказания – это уже другая проблема), знает свою беспомощность и знает тот минимум прав, которыми может воспользоваться, знает свои шансы на досрочное освобождение. И ни у кого не вызывает сомнения, что очень значимым фактором для заключенного является срок, идет ли речь всего о двух неделях пребывания в тюрьме (даже в самых ужасных условиях) или же о двух месяцах, двух годах или двадцати годах лишения свободы. Этот фактор решающий, именно он вызывает состояние безнадежности и полной деморализации, он же (в исключительных случаях) может привести к мобилизации новой энергии – для реализации плохих или хороших целей. Кроме того, заключенный – это ведь, в конце концов, не только «заключенный». У каждого своя индивидуальность, и реагирует он в соответствии со своей индивидуальной структурой характера. Это, правда, не означает вовсе, что все его реакции *исключительно* функция одной лишь личности и не имеют никакого отношения к реальным внешним условиям. Было бы наивно пытаться решить данную альтернативу по типу или – или. Самое сложное в этой проблеме заключается в том, чтобы выяснить (у каждого отдельного индивида и у каждой группы), в чем состоит специфика взаимодействия между структурой конкретной лич-

ности и структурой конкретного общества. Только здесь начинается настоящее научное исследование; и гипотеза, будто единственным фактором, объясняющим человеческое поведение, служит ситуация, является для такого исследования серьезной помехой.

Теория фрустрационной агрессивности

Существует еще немало бихевиористски ориентированных исследований проблемы агрессивности⁴⁵, но единственной общей теорией агрессии и насилия является теория фрустрации Джона Долларда и других, претендующая на объяснение причины любой агрессии. Точнее говоря, эта теория утверждает следующее: «Возникновение агрессивного поведения всегда обусловлено наличием фрустрации, и наоборот – наличие фрустрации всегда влечет за собой какую-нибудь форму агрессивности» (75, 1939, с. 1; нем.: с. 9).

Спустя два года один из авторов этой теории, Н. Э. Миллер, высказал вторую половину гипотезы, сделав допущение, что фрустрация может вызывать множество различных реакций и что агрессивность есть лишь одна из них (190, 1941).

Как утверждает Басс, эта теория была признана за малым исключением почти всеми психологами. Сам Басс подводит критический итог: «К сожалению, исключительное внима-

⁴⁵ Великолепный обзор психологических исследований проблемы насилия можно найти у Э. Мегарже (184, 1969).

ние к фрустрации привело к тому, что целый большой класс antecedентов (вредных раздражителей) был выброшен за борт вместе с концепцией агрессии как инструментальной реакции. На самом деле фрустрация – это лишь одна из многих antecedентов агрессивности, и притом не самая сильная» (51, 1961, с. 28).

К сожалению, невозможно более подробно обсудить фрустрационную теорию агрессии в рамках этой книги из-за огромного объема справочной литературы⁴⁶. Поэтому я ограничусь рассмотрением лишь нескольких важнейших положений.

Первоначальная простая формулировка этой теории сильно пострадала от многочисленных толкований понятия «фрустрация». Главными остаются два значения: 1) прекращение начатой целенаправленной деятельности (пример с мальчиком, которого вошедшая в комнату мать застала в тот момент, когда он залез в коробку с печеньем; или пример с прерванным сексуальным актом); 2) фрустрация как отрицание желания, вожделения, страсти, «отказ» в терминах Басса (пример с мальчиком, который просит у матери печенье, а она ему отказывает; или с мужчиной, который делает женщине предложение, и она его отвергает).

Многозначность толкований понятия фрустрации связа-

⁴⁶ К важнейшим исследованиям на данную тему, кроме работы Басса, следует отнести публикацию Берковича, который приводит к тому же большой список новой литературы (30, 1969).

на, во-первых, с тем, что Доллард и другие недостаточно четко и точно сформулировали свои идеи. Вторая причина, вероятно, заключается в том, что в обыденном языке слово «фрустрация» употребляется чаще всего во втором значении, к которому можно было бы добавить еще и психоаналитическое толкование (например, потребность ребенка в любви оказывается «фрустрирована» его матерью).

Каждому из значений понятия «фрустрация» соответствуют две совершенно различные теории. Фрустрация в первом смысле, видимо, встречается довольно редко, ибо для нее необходима такая ситуация, когда преднамеренная деятельность уже началась. В любом случае серьезного подтверждения или опровержения этой теории можно ожидать только от новых научных данных нейрофизиологии.

Что касается другой теории, опирающейся на второе значение слова «фрустрация», то складывается впечатление, что она не выдерживает проверки эмпирическими фактами. Вспомним хотя бы простейший жизненный факт: ни одно важное дело в жизни не достигается без фрустрации. Как ни симпатична идея о возможности обучения чему-либо без всяких усилий, без труда (т. е. без фрустрации), но она явно недостижима, особенно если речь идет о получении высокой квалификации. И если бы человек не обнаружил способности справляться с фрустрациями, то он бы, вероятно, вообще не смог совершенствоваться. А разве опыт жизни не показывает нам, что люди ежедневно страдают, получая отказы,

но при этом вовсе не проявляют агрессивных реакций? Люди, простаивающие в очереди ради получения билета в театр, верующие во время поста, люди на войне, вынужденные мириться с отсутствием качественной пищи, – эти и сотни подобных случаев фрустрации не ведут к росту агрессивности. На самом деле важнейшую роль играет психологическая *значимость* фрустрации для конкретного индивида, которая в зависимости от общей обстановки может быть различной.

Если, например, ребенку запрещают есть конфеты, то такая фрустрация может и не вызвать никаких агрессивных реакций, если родители любят ребенка. Если же этот запрет является одним из проявлений родительского волюнтаризма или если младшей сестренке в его присутствии дали печенье, а ему – нет, то такая ситуация может привести к настоящему взрыву гнева. Таким образом, агрессивность вызывается не фрустрацией, как таковой, а ситуацией, в которой присутствует элемент несправедливости.

Важнейшим фактором для прогнозирования последствий фрустрации и их интенсивности является *характер* индивида. Например, обжора будет негодовать, если не получит вдоволь еды, жадный становится агрессивным, если ему не удастся выторговать что-то и купить по дешевке. Нарциссическая личность испытывает фрустрацию, если не получает ожидаемых похвал, признания и восхищения. Итак, от характера человека зависит, во-первых, *что* вызывает в нем фрустрацию и, во-вторых, насколько *интенсивно* он будет

реагировать на фрустрацию.

Поэтому, какова бы ни была ценность бихевиористских исследований проблемы агрессивности, им все же не удалось сформулировать общую гипотезу о причинах особо острой агрессивности, ведущей к насилию. Мегарже в конце своего блистательного обзора психологической литературы пишет: «Лишь считанные исследователи попытались перепроверить существующие теории *насилия*. Эмпирические исследования частных проблем в общем и целом *не служили делу проверки* теорий. А серьезные теоретики чаще всего изучали сравнительно мягкие формы агрессивного поведения или же брали за объект исследования инфраструктуры, а не человека» (184, 1969. Курсив мой. – Э. Ф.).

Принимая во внимание талант этих исследователей, огромное количество материалов, которые были в их распоряжении, а также многочисленных помощников-студентов, результаты можно оценить как весьма умеренные, что дает основание считать, что бихевиористская психология непригодна для создания систематической теории источников агрессивности и насилия.

III. Бихевиоризм и инстинктивизм: сходство и различия

Черты сходства

Согласно представлениям инстинктивистов, человек живет прошлым своего рода, бихевиористы же полагают, что человек живет сегодняшним днем своего общества. Первый – это машина, в которую заложены только унаследованные модели прошлого, последний – машина, способная воспроизводить только социальные модели современности. Обе теоретические ориентации опираются на одну общую предпосылку: человек не имеет души с ее особой структурой и специфическими законами. Для всех теорий в духе Лоренца характерен подход, который наиболее радикально сформулировал ученик Лоренца – Пауль Лейхаузен. Он критикует всех психологов-«гуманистов» (Human-psychologen), утверждающих, что все психическое можно объяснить *только* с помощью психологии, т. е. на базе собственно психологических предпосылок. Вот что им возражает Лейхаузен: «Где мы определенно *не* находим объяснения психических явлений и состояний, так это в психическом, как таковом. И по той же причине, по которой невозможно объяснить пищеварение, исходя лишь из самого процесса пищеварения, а

необходимо привлечение огромного материала об экологических условиях существования огромного числа организмов и тысячелетнем естественном отборе, который привел к усвоению не только неорганических, но и органических продуктов питания. И психические процессы так же точно возникли в результате естественного внутривидового отбора, и потому объяснить их можно, только исходя из *предшествующих* явлений» (163, 1968, с. 14). Проще говоря, Лейхаузен считает, что психологические факты можно объяснить исключительно на основе эволюционного процесса. И при этом важно уяснить, что следует понимать под словом «объяснить». Если, например, мы хотим узнать, как *смог* развиться аффект страха в ходе развития мозга от низших существ к высшим, то это дело тех ученых, которые занимаются эволюцией мозга. А если мы хотим узнать, почему человек боится, то данные эволюции в этом случае мало чем помогут, потому что здесь объяснению может помочь в первую очередь психология. Или человеку угрожает более сильный противник, или он пытается справиться со своей собственной внутренней агрессивностью, или он страдает от чувства беспомощности, или страх есть симптом паранойи – иными словами, только на базе изучения множества аналогичных психологических факторов можно объяснить синдром страха. А пытаться объяснять аффект страха какого-либо конкретного человека процессом эволюции – это с самого начала бессмысленная идея.

Лейхаузен делает ставку на теорию эволюции: по его мнению, мы можем объяснить все психические процессы лишь благодаря тому, что изучим происхождение человека и то, как он стал тем, что он есть. Правда, он и по поводу процессов пищеварения считает, что их можно объяснить, зная условия их развития миллионы лет тому назад. Как же помочь больному, страдающему желудочным заболеванием, если врач будет озабочен эволюцией пищеварения, а не конкретными симптомами у конкретного пациента? По-моему, даже Лоренц не был таким ярым, крайне односторонним поборником бескомпромиссного дарвинизма, хотя и опирался в своей теории на его предпосылки⁴⁷.

Несмотря на все различия, и бихевиоризм, и инстинктивизм имеют одну важную общую черту: и тот и другой упускают из поля зрения *личность*, самого действующего человека. Является ли человек продуктом эволюции животных предков или результатом воспитания, он в обоих случаях определяется исключительно внешними условиями; он не принимает участия в своей жизни, не несет никакой ответственности и не имеет ни капли свободы. Человек – это марионетка, которой управляют либо инстинкты, либо воспитатели.

⁴⁷ Односторонность этой позиции напоминает искаженную форму психоанализа, который полагает, что весь анализ тождествен пониманию истории пациента, а динамика его сегодняшнего психического процесса не играет роли.

Новые подходы

Несмотря на ряд общих моментов в оценке человека, а также общую философскую ориентацию, инстинктивизм и бихевиоризм фанатично сражаются друг с другом, отстаивая свои позиции. Каждая из сторон собирает под свои знамена сторонников и выдвигает лозунги типа «Природа ИЛИ воспитание», «Инстинкт ИЛИ среда».

В последние годы стала заметной тенденция к преодолению острого конфликта между этими направлениями. В качестве одного из путей примирения противоречий было предложено изменить терминологию. Кое-кто надумал термин «инстинкт» закрепить за животным миром, а при характеристике человеческой мотивации говорить о «естественных влечениях». Так возникли следующие формулировки: «Поведение человека большей частью определяется обучением, в то время как поведение птицы большей частью не подлежит научению» (204, 1953, с. 295). Подобная неуклюжая формулировка ярко характеризует новую тенденцию отхода от метафизического «или – или» в сторону осторожной формулы «более или менее». Представители этого направления надеются таким образом постепенно подвести дело к смене акцентов на тех или иных факторах. Моделью для подобных рассуждений является идеальный континуум, на одном конце которого находятся факторы (почти) исключи-

тельно врожденного происхождения, в то время как на другом – факторы (почти) полностью благоприобретенные.

Так, один из известных противников инстинктивизма, Ф. А. Бич, пишет:

Идея, будто любое поведение должно определяться либо наследственностью, либо обучением, совершенно неправомерна. Конкретная реакция есть результат взаимодействия огромного числа переменных, из которых только две детерминированы генами или воспитанием. И психологи обязаны анализировать все эти факторы без исключения. А когда они правильно поймут свою задачу, не будет необходимости вести дискуссии по поводу туманных концепций инстинктивного поведения (22, 1955, с. 405).

Во многом сходные идеи можно найти и у таких авторов, как Майер и Шнайрла, которые пишут:

Поскольку в поведении высокоразвитых живых существ обучение играет значительно более важную роль, чем в поведении низших форм жизни, врожденные модели поведения у высших существенно модифицируются опытом, чего у низших форм почти не наблюдается. Благодаря такой модификации животное может приспособиться к новым обстоятельствам. Поэтому выживание высших животных в меньшей степени зависит от внешних условий.

Однако взаимодействие и взаимовлияние врожденных и благоприобретенных факторов дает

такое многообразие моделей поведения, которое очень сильно затрудняет их классификацию и требует изучения каждого типа поведения отдельно от других (168, 1964, с. 284).

В книге этих авторов представлены взгляды, сглаживающие противоречия между лагерем «инстинктивистов» и сторонниками теории «обучения». Главная проблема, с их точки зрения, заключается в том, что принято разграничивать «органические» и «неорганические» влечения. Первые – голод, борьба, бегство, сексуальность – обеспечивают выживание индивида и вида. А вторые, «неорганические» влечения (страсти, обусловленные характером)⁴⁸, не заложены в филогенетическую программу и у всех людей проявляются по-разному: как стремление к свободе и любви, как деструктивность, нарциссизм, садизм или мазохизм.

Эти «неорганические» влечения, которые являются второй натурой человека, нередко путают с органическими влечениями. В первую очередь это касается секса. Практика психоанализа показала, что интенсивность переживания, которое сам субъект считает сексуальным желанием, часто имеет в основе своей совершенно иные, несексуальные страсти, как, например, нарциссизм, садизм, мазохизм, властолюбие и даже страх, одиночество и скуку.

⁴⁸ «Неорганические», конечно, не означает, что они лишены нейрофизиологического субстрата, а означает лишь то, что они не вызываются органическими потребностями индивида и не служат удовлетворению этих потребностей.

Например, мужчина-нарцисс может испытать сексуальное волнение при виде женщины лишь потому, что ему представилась возможность доказать свою собственную привлекательность, а садиста может взволновать самый шанс завоевать женщину (или мужчину) и подчинить себе. Многие люди на долгие годы оказывались эмоционально привязанными друг к другу под влиянием именно такой мотивации, особенно в тех случаях, когда садизм одного партнера соответствует мазохизму другого. Известно, что слава, власть и богатство делают их обладателя сексуально привлекательной фигурой при минимальных физических предпосылках. Во всех этих случаях физическое желание тела мобилизуется за счет совершенно иных, несексуальных, стремлений. Вот и посудите сами, сколько детей появилось на свет благодаря тщеславию, садизму и мазохизму, а вовсе не в результате подлинного физического притяжения, не говоря уж о любви... Однако люди (особенно мужчины) предпочитают даже скорее признать свою чрезмерную «сексуальную возбудимость», чем «чрезмерное тщеславие»⁴⁹.

Подобный феномен многократно наблюдался при изучении обжорства. Этот симптом вызван не «физиологическим», а «психическим» голодом, причиной которого может быть чувство депрессии, страха, «пустоты» и т. д.

Мой тезис (который я хочу доказать в последующих гла-

⁴⁹ Это особенно четко просматривается в феномене «мачизма» (латиноамериканское название для мужского чванства) (15, 1965; 101, 1970b).

вах) звучит так: деструктивность и жестокость – это не инстинктивные влечения, а страсти, которые корнями уходят в целостную структуру человеческого бытия. Они относятся к разряду тех возможностей, которые придают жизни смысл; их нет и не может быть у животного, ибо они по природе своей коренятся в «человеческой сущности». Главное заблуждение Лоренца и других исследователей инстинктов состоит в том, что они перепутали два вида влечений – те, которые обусловлены *инстинктами*, и те, которые определяются *характером*. Садист, словно ожидающий момента, чтобы совершить злодеяние и «разрядить» свой садизм, на первый взгляд очень напоминает «гидравлическую модель накопившейся инстинктивной энергии». Но на самом деле это разные вещи. Только люди с садистским характером ожидают возможности проявить себя в этом качестве, так же как люди с любвеобильным характером ищут возможность выразить свою любовь.

О политической и социальной подоплеке обеих теорий

Попробуем поточнее разобраться в социальных и политических предпосылках разногласий между представителями теории воспитания и сторонниками теории влечений.

Теория воспитания отмечена духом французской буржуазной революции XVIII в. Феодализм опирался на предпо-

ложение, что его общественный порядок и есть *естественный* порядок. Буржуазия, желая свергнуть этот «естественный» порядок, взяла на вооружение теорию, согласно которой человеческий статус определяется не какими-то врожденными или естественными факторами, а полностью зависит от обстоятельств общественной жизни. Революция как раз и ставила цель изменения и улучшения социальных обстоятельств. Все недостатки и глупости объяснялись теперь не человеческой природой, а дурными условиями жизни общества. Так появилась возможность для неограниченного оптимизма в отношении человеческого будущего.

В то время как теория воспитания тесно связана с революционными надеждами восходящей буржуазии XVIII в., основанное на дарвинизме учение об инстинктах отражает мировоззрение капитализма XIX в. Капиталистическая система идет к гармонии через жесточайшую конкурентную борьбу всех против всех. Для утверждения капитализма в качестве нового естественного строя очень важно было доказать, что и человек – самый удивительный и самый сложный феномен природы – является результатом конкурентной борьбы «всех против всех» – всех живых существ, всех биологических видов с самого начала существования жизни. Тогда развитие жизни от одноклеточного организма до человека можно было объявить величайшим примером свободного предпринимательства, когда в конкурентной борьбе побеждают сильнейшие и вымирают те, кто неспособен идти в ногу с разви-

вающейся экономической системой⁵⁰.

В 20-е гг. XX в. против теории инстинктов выступила целая группа ученых (К. Данлап, Цинг Янг Куо, Л. Бернард и др.). Это была настоящая революция, и успех ее объяснялся прежде всего изменившимся характером самого капитализма. Дело в том, что развитие капитализма в XIX в. шло под знаком ожесточенной борьбы между предпринимателями, которая разоряла слабых и менее способных. В XX в. для капитализма стала более характерна не столько конкуренция, сколько кооперация крупных концернов. И тогда отпала необходимость доказывать, что непримиримая конкурентная борьба соответствует естественному закону природы. Кроме того, XX век отличается от XIX века методами господства. В прошлом веке власть базировалась в целом на патриархальных принципах подчинения авторитету Бога и короля. В эпоху кибернетики капитализм, благодаря гигантской концентрации предприятий, а также оказавшись способным дать рабочим хлеб и зрелища, получает совершенно новые возможности контроля: в арсенал средств контроля входят психологическое манипулирование человеком, а также методы человеческой инженерии. Сегодня капиталистическому производству гораздо нужнее человек гибкий, внушаемый и легко обучаемый, нежели тот, кто задав-

⁵⁰ Эта интерпретация истории не имеет на самом деле ничего общего с теорией Дарвина, хотя она, вероятно, подпитывалась популярностью этой теории и игнорировала некоторые факты (например, такие, как роль кооперации и т. д.).

лен страхом перед авторитетом. И наконец, третье отличие: современное индустриальное общество имеет совершенно иные представления о целях. Идеалом XIX в. (для буржуа, по крайней мере) была независимость и частная инициатива, возможность быть «хозяином самому себе». Сегодня, напротив, достойной целью считается неограниченное потребление и неограниченное господство над природой. Человечество одержимо идеей овладеть природой настолько, чтобы в один прекрасный день человек почувствовал себя Богом: зачем же в самой *человеческой* натуре должно сохраниться нечто недоступное для контроля и манипулирования?

Таким образом, понятно, что бихевиоризм стал выражением духа индустриализма XX в. Но чем тогда объяснить возрождение инстинктивистских идей и огромную популярность книг Конрада Лоренца? Я думаю, одной из причин этого стало чувство безнадежности и страха, поселившееся в сердцах миллионов людей перед лицом все возрастающей опасности мировой катастрофы. Многие из тех, кто разуверились в идее прогресса и в том, что можно что-то изменить в человеческой судьбе, сегодня ищут причины своих разочарований. Однако вместо того, чтобы тщательно изучать социальные процессы, они пытаются во всем обвинить человека, низменную человеческую природу. Ну и самая последняя причина возникновения неоинстинктивизма связана с личными и политическими взглядами конкретных авторов.

Некоторые из них сами не вполне осознали философские

и политические последствия своих теорий. Комментаторы их теорий также не придали значения этой связи. Но есть и исключения. Например, Н. Пасторе (211, 1949) провел сравнительный анализ общественно-политических воззрений двадцати четырех психологов. Одиннадцать из двенадцати «либералов» или радикалов оказались сторонниками теории среды и один – сторонником учения о наследственности; зато из двенадцати «консерваторов» одиннадцать представляли теорию наследственности и только один – теорию среды. Даже если сделать скидку на малочисленность выборки, все равно результаты довольно впечатляющие.

Другие авторы руководствуются эмоциональными факторами – так, по крайней мере, считают их противники. Пример такого одностороннего подхода мы находим у одного из известнейших представителей ортодоксального психоанализа – Р. Вэльдера.

Известны две полярные позиции, критикующие друг друга: праведные марксисты и западные либералы. Но в одном их мнения совпадают: и те и другие страстно убеждены, что человек от природы «добр» и что все зло и беды в человеческих отношениях происходят по причине дурных обстоятельств: для марксистов главное зло в частной собственности, сторонники умеренной версии объявляют причиной так называемую «невротическую культуру»...

Однако ни эволюционисты, ни революционеры, убежденные в природной доброте человека, не могут

отрицать, что теория деструктивности (и влечения к смерти) приводит их в смятение. Ибо если эта теория верна, то возможность страданий и конфликтов исконно заложена в человеческое бытие и уничтожить или облегчить страдания оказывается гораздо сложнее, чем это предполагали социальные революционеры (274, 1956).

Критические замечания Вэльдера, как видим, касаются только противников теории инстинктов.

IV. Психоаналитический подход к пониманию агрессивности

Устраняет ли психоаналитическое учение недостатки биохевиоризма и инстинктивизма? На первый взгляд – нет. Даже более того, кажется, будто психоанализ сам обременен недостатками обоих направлений, ибо в своих теоретических построениях он опирается на учение об инстинктах⁵¹, а в своей терапевтической практике учитывает воздействие внешнего мира на пациента.

Мне нет нужды излагать здесь взгляды З. Фрейда, ибо всем известно, что фрейдизм в объяснении человеческого поведения исходит из противостояния двух фундаментальных страстей – инстинкта самосохранения и сексуальности (позже он назовет эту антиномию влечением к жизни и влечением к смерти). Что его теория одновременно уделяет серьезное внимание проблеме социального окружения – это тоже очевидно, ведь все знают, что в лечебной практике психоанализ всегда пытался объяснить развитие личности специфическими условиями жизни ребенка в раннем детстве, т. е. воздействием на него семейного окружения.

⁵¹ Фрейд пользуется словом *Trieb* – «влечение», которое на английский язык переводится чаще всего словом «инстинкт», но имеется в виду более широкое значение слова «инстинкт», не чисто животное рефлекторное стремление, а такое, которое более или менее окрашивает все поведение в целом.

Характерно, что на практике пациенты, а нередко и сами психотерапевты лишь на словах признают роль сексуальных влечений, на деле же полностью находятся на позициях теории воспитания. Ведь аксиома фрейдизма гласит: все отрицательное в развитии пациента является результатом вредных воздействий на него в раннем детстве. И потому сплошь и рядом родители занимаются напрасным самобичеванием, полагая, что каждая нежелательная черта в характере ребенка, обнаруженная после его рождения, обусловлена тем или иным родительским влиянием. Сами же пациенты во время анализа проявляют склонность снимать с себя всякую ответственность за свое поведение и во всем винить родителей.

В свете этих фактов психологи, быть может, правы, зачисляя психоанализ как *теорию* в разряд учений об инстинктах, и тогда их аргументы против Лоренца *eo ipso*⁵² есть аргументы против психоанализа. Но здесь следует соблюдать осторожность и прежде всего ответить на вопрос: что собой представляет психоанализ? Что это – полная совокупность всех теорий Фрейда или же творчество Фрейда (как и любого пионера науки) многослойно, и в нем надо уметь, с одной стороны, видеть главные продуктивные идеи (сохранившие свое значение и по сей день), а с другой стороны, различать вспомогательные, второстепенные элементы его системы, которые заняли в ней место лишь как дань своей эпохе? Если проводить такое деление, то следует спросить, состав-

⁵² Этим самым (лат.). – *Примеч. ред.*

ляет ли теория либидо ядро фрейдовского творчества, или она только форма, в которую он облачил свои новые воззрения, ввиду того что не мог иначе сформулировать свою концепцию в рамках традиционной научно-философской мысли (101, 1970d).

Сам Фрейд никогда не претендовал на научную доказательность теории либидо. Он обозначил ее словами «наша мифология» и позднее заменил теорией Эроса и «влечением» к смерти. Большое значение имеет также тот факт, что основополагающими категориями психоанализа Фрейд считал вытеснение и сублимацию, а вовсе не либидо.

Но еще важнее для нас не высказывания Фрейда, а то, в чем мы видим сегодня уникальное историческое значение его открытий, – и это, конечно, не его учение об инстинктах, как таковое. Действительно, начиная с XIX в. это учение получило довольно широкое распространение. Когда он назвал сексуальное влечение (наряду с инстинктом самосохранения) источником всех страстей, это звучало неожиданно и революционно, ибо то была все еще эпоха господства викторианской буржуазной морали. Но дело даже не в этой новой концепции влечений, не она произвела такое неизгладимое впечатление на современников и потомков. По-моему, подлинно историческое значение сделанного Фрейдом состоит в открытии *бессознательного*, и притом не на философском или спекулятивном уровне, а на уровне эмпирического исследования – так, как он изложил это в отдельных лекциях и

особенно в своем фундаментальном труде «Толкование сновидений» (1900). Так, например, если вы желаете показать, что некий, на сознательном уровне миролюбивый и совестливый человек одержим тайным желанием убивать, то вопрос об истоках этого импульса — явно не первостепенный. Вряд ли так уж важно выяснять — лежит ли в его основе «эдипов комплекс» ненависти к отцу или нарциссизм, или это проявление инстинкта смерти. Революция Фрейда состояла в том, что он помог нам обнаружить бессознательный аспект человеческого мышления и ту энергию, которая необходима человеку для того, чтобы не допустить осознания нежелательных влечений. Он показал, что добрые намерения не имеют никакого значения, если они прикрывают неосознанные желания. Он разоблачил «честную» бесчестность, показав, что недостаточно иметь «благие порывы» и действовать «из добрых побуждений» на сознательном уровне. Он был первый ученый, который проник в преисподнюю человеческой души, и потому его идеи имели такой колоссальный успех у художников и писателей тогда, когда психиатры еще не принимали его всерьез.

Но это еще не все, Фрейд пошел дальше. Он не только показал, что в человеке действуют силы, которых он не сознает и путем рационализации защищает себя от их осознания; он объяснил, что эти неосознанные силы интегрируются в единую систему по имени «характер» (в новом, фрейдовском,

динамическом смысле этого слова)⁵³.

Фрейд начал развивать свою концепцию еще в первой работе об «анальном характере» (100, 1908). Он заметил, что такие черты, как самолюбие, пунктуальность и бережливость, соединенные в одной личности, часто выступают как характерологический синдром. В добавление к этому синдрому были подмечены такие моменты, которые связаны с формированием у ребенка понятия личной гигиены (воздержание при позывах к освобождению прямой кишки и т. д.). Так впервые Фрейд сделал шаг к установлению связи между типом поведения вообще и поведением ребенка при необходимости освободить желудок (или его реакцией на осознание этого). Следующий блистательный шаг состоял в том, что он сопоставил обе группы моделей поведения и теоретически обосновал их взаимосвязь, опираясь на более раннюю свою гипотезу о развитии либидо.

Согласно этой гипотезе, ребенок в раннем детстве про-

⁵³ Фрейдовскую теорию характера по-настоящему помогает объяснить «Теория систем», которая с начала 20-х гг. с успехом начала применяться в естественно-научном мышлении (особенно в биологии и нейрофизиологии), а также в некоторых областях социологии. Недостаток системности в мышлении, вероятно, очень сильно помешал пониманию и характерологии Фрейда, и социологии Маркса. Исключение составляют Петер Вайс, Берталанфи, Чёрчман. П. Вайс еще в 1925 г. выдвинул общую системную теорию поведения животных, но она не получила широкой известности, а в двух последних работах он так кратко и так блистательно изложил свое понимание сущности системы, что их можно считать великолепным введением в предмет (см.: 277, 1967; 1970; см. также: 33, 1968 и 61, 1968).

ходит через различные фазы своего развития, когда сначала главным органом удовлетворения желаний является рот, а затем анус, который становится важной эрогенной зоной, и большинство либидозных желаний связано с процессом воздержания или освобождения от экскрементов. И Фрейд сделал вывод, что способ поведения можно квалифицировать либо как синдром сублимации сексуального удовлетворения анального желания, либо как отрицательную реакцию на невозможность такого удовлетворения.

Тогда самолюбие и бережливость можно рассматривать как сублимацию первоначального желания «удержать стул»; а чрезмерную аккуратность считать отрицательной установкой на детское «недержание». Фрейд показал, что эти три первоначальных признака, которые раньше считались совершенно независимыми, являются частями единой системы (или единой структуры), ибо все они уходят корнями в анальную сексуальность, а либидо находит выражение в данных чертах характера (преимущественно в форме психологической установки или же в виде сублимации). Так Фрейд объяснил, почему перечисленные черты личности имеют такой мощный заряд, что почти не поддаются трансформации извне⁵⁴.

Одним из важнейших элементов теории стало понятие

⁵⁴ Позднее к первоначальным показателям анального синдрома добавились еще такие черты, как преувеличенная чистоплотность и пунктуальность; они также толковались как реакции на первоначальные анальные рефлексy.

«орально-садистского» типа личности, который я обозначаю как эксплуататорскую личность. Есть и другие обозначения личностных типов, соответствующие тому, какой из аспектов стараются подчеркнуть: например, авторитарный⁵⁵ (садомазохистский), бунтарский и революционный, нарциссический и инцестуозный. Последние названия большей частью не относятся к классической психоаналитической терминологии, эти характеристики очень близки друг к другу, нередко перекрещиваются, а их комбинации позволяют создавать более подробный психологический портрет конкретной личности.

Теоретическая концепция структуры личности у Фрейда была построена на основе того, что либидо (в оральной, анальной или генитальной форме) является источником, питающим энергией различные черты личности. Но даже если отвлечься от теории либидо, открытие Фрейда не утрачивает своего значения для практики клинических наблюдений; и факт остается фактом, что характерологические синдромы питаются из одного и того же источника энергии.

Я попытался показать, что синдром характера коренится в определенных формах ориентации индивида, демонстрирующих его отношение к внешнему миру и к себе самому, и является главным источником, питающим личность. Да-

⁵⁵ Этот тип я подробно описал после обследования большой группы немецких рабочих и служащих еще в 30-е гг. (см.: 101, 1979b; а также: 1932; 1941a; 1970a). Этой же теме было посвящено исследование Теодора Адорно (4, 1950), только без психоаналитического аспекта и без динамического подхода к характеру.

лее, я пытался показать, что социальный тип личности формируется под влиянием одинаковых социально-экономических условий жизни всех членов группы (101, 1932a; 1979b; 1941a; 1947a; 1970a; 1970b)⁵⁶.

Понятие характера играет чрезвычайно большую роль в нашей теории, поскольку оно устраняет прежнее противопоставление между внешним миром и влечением. Сексуальное влечение в системе Фрейда занимает важное место как фактор формирования личности, но при этом воздействие данного фактора осуществляется большей частью через призму внешнего мира. Так возникло предположение, что личность является продуктом взаимодействия влечений и внешнего мира. Это стало возможно потому, что Фрейд все влечения привел в систему и подчинил одному (сексуальному, наряду с инстинктом самосохранения). Прежде исследователи инстинктов имели обыкновение жестко разграничивать мотивы поведения, приписывая каждому из них какой-нибудь врожденный инстинкт. Фрейд же все различия между мотивами объяснял, исходя из влияния внешнего мира на сексуальную сферу человека. Парадокс состоял в том, что как раз расширение понятия сексуальности дало Фрейду возмож-

⁵⁶ К аналогичным выводам пришел в 60-е гг. и Эрик Г. Эриксон в своей работе «Детство и общество» (1964). Когда, развивая свою теорию, он поставил вопрос о «модальностях» поведения, он не настаивал на своей особой позиции, отличной от позиции Фрейда. Обратившись к анализу индейского племени юрок, он показал, что характер определяется не либидозным началом и что роль социальных факторов в формировании личности очень велика (87, 1964).

ность распахнуть двери для такого фактора формирования личности, как внешний мир (что было совершенно невозможно в дофрейдовских теориях влечений и инстинктов). Отныне любовь, нежность, садизм, мазохизм, тщеславие, зависть, страх, ревность и многие другие страсти больше не закреплялись каждая за своим единственным врожденным инстинктом, а все рассматривались под углом зрения воздействия окружающей среды на сексуальную сферу (особенно со стороны значимых фигур раннего детства). Сам Фрейд считал, что он никогда не менял своего мировоззрения, но на самом деле он перерос инстинктивистский уровень мышления, что проявилось в его гипотезе о супервлечении. И все же развитию его идей очень сильно мешали ограничения, связанные с теорией сексуальности, и тогда настало время окончательно освободиться от этого груза с помощью теории влечений. Однако здесь я хочу особо обратить внимание на тот факт, что Фрейдово «учение о страстях» резко отличается от традиционных исследований этой проблемы.

До сих пор мы говорили о том, что «характер определяет поведение», что та или иная черта характера (например, любвеобильность или деструктивность) заставляет человека вести себя так, а не иначе и что человек чувствует удовлетворение, когда ведет себя в соответствии с характерной чертой своей натуры. Даже более того, мы можем по одной какой-то черте характера предсказать наиболее вероятное поведение человека – точнее, мы можем сказать, как он *захочет* себя

повести, если ему представится возможность.

Что означает это ограничение: «если представится возможность»?

Здесь нам приходится вернуться к одному из самых существенных понятий Фрейда, каким является «принцип реальности»⁵⁷, который опирается на инстинкт самосохранения (в противовес «принципу удовольствия», который связан с инстинктом сексуальности). Все черты характера имеют свои корни либо в сексуальных, либо в несексуальных аффектах, но, независимо от того, какие страсти преобладают у конкретного индивида, всегда существует противоречие между тем, что мы хотели бы делать, и тем, что нам положено делать (даже если это ограничение проистекает из наших собственных интересов). Мы не можем всегда поступать так, как нам диктуют наши страсти, ибо вынуждены, чтобы сохранить себе жизнь, до известной степени модифицировать свое поведение. Обычный человек всегда идет на компромисс между тем, как он хотел бы поступить «от души» (в соответствии со своим характером), и тем, как он вынужден себя вести, чтобы его поведение по меньшей мере не повлекло за собой отрицательных последствий для него самого. Конечно, есть разные степени приверженности инстинкту самосохранения (эго-интерес). Пример такой крайности представляет

⁵⁷ «Принцип реальности» — термин Фрейда, означающий, что при удовлетворении влечений человек руководствуется требованиями внешнего мира, особенно социального, и вытесняет асоциальные желания. — *Примеч. ред.*

поведение фанатичного убийцы, у которого показатель «эго-интереса» равен нулю. А другую крайность составляет тип «приспособленца», для которого «эго-интерес» охватывает все, что может принести ему любовь, богатство или жизненные удобства. Между этими двумя полюсами можно расположить всех людей, которые являются носителями смешанных характеров с разным процентным соотношением страстей.

А вопрос о том, насколько человеку удастся подавлять свои страсти, зависит не только от внутренних факторов, но и от соответствующей жизненной ситуации; когда ситуация меняется, вытесненные желания осознаются и обеспечивают себе реализацию. Это относится, например, к людям с садомазохистским характером. Всем знаком этот тип личности, который раболепно подчиняется своему шефу, зато терроризирует жену и детей. Другой случай изменения характера встречается, когда меняется общая социальная ситуация. Так, садистская личность, которая может при желании вести себя как тихий и даже милый человек, в тоталитарном обществе (где террор и садизм получают не осуждение, а одобрение) может превратиться в настоящего дьявола. Другой может подавлять в себе все явные формы садистского поведения, но его характер все равно проявится в мелочах: в позах, мимике, жестах, внешне безобидных словах.

Даже самые честные порывы могут служить вытеснению черт характера. Так, человека, который живет в соответствии

с христианскими ценностями, в обществе, как правило, считают дураком или «невротиком», хотя учение Иисуса Христа составляет часть нашего нравственного сознания. Поэтому многие прибегают к рационализации и мотивируют свою любовь к ближнему эгоистическим интересом.

Эти рассуждения показывают, что черты характера с точки зрения силы мотивации лишь до некоторой степени обусловлены субъективным интересом. Они показывают далее, что человеческое поведение в первую очередь мотивируется характером, но субъективный интерес в различных условиях вносит свои модификации и коррективы. Огромной заслугой Фрейда является то, что он не только обнаружил характерологические черты, лежащие в основе поведения, но открыл пути и средства их изучения: например, при помощи толкования сновидений и свободных ассоциаций, на материале изучения ошибок речи и письма и т. д.

В этом состоит главное различие между бихевиоризмом и психоаналитической характерологией. Воспитание (условных рефлексов) осуществляется путем апелляции к субъективному интересу, к страху перед болью, к естественным потребностям в пище и питье, к безопасности и признанию и т. д.

У животных этот субъективный интерес проявляется так сильно, что в оптимальных условиях повторения сигналов, сопровождающихся вознаграждением или наказанием, интерес в самосохранении оказывается самым сильным и превос-

ходит все другие влечения, включая сексуальность и агрессивность. Конечно, и человек ведет себя соответственно своему субъективному интересу, но не всегда и не неизбежно. Часто он действует и по велению своих страстей (высоких или низменных), а нередко готов (и вполне способен) поставить на карту свой интерес, имущество, свободу и даже жизнь во имя любви, во имя правды и сохранения своей чести; но так же точно он может пожертвовать всем из ненависти, алчности, садизма и деструктивности. И вот эта разница является главной причиной того, что человеческое поведение не поддается объяснению, если его рассматривать как следствие исключительно только обучения и воспитания.

Выводы

Среди открытий конца XIX в. эпохальным событием стало то, что Фрейд обнаружил ключ к пониманию целой системы сил, определяющих структуру личности, а также то, что некоторые из этих сил противоречат друг другу. Открытия бессознательных процессов, а также динамической структуры личности позволили Фрейду высветить *радикально* новые, глубинные корни человеческого поведения. Правда, они вызвали определенную тревогу, ибо с этого момента стало невозможно прикрываться добрыми намерениями; они были *опасными*, ибо общество было до самого основания потрясено тем, что каждый мог узнать о себе и других

все, что угодно.

По мере того как психоанализ добивался успеха и признания, он постепенно отказывался от своего радикального ядра и делал ставку на то, что было общеприемлемым. Аналитики сохранили лишь одну часть фрейдовского бессознательного – сексуальность. Общество потребления распрощалось со многими викторианскими табу (и не только под влиянием психоанализа, но и по многим другим причинам). Никто больше не «падал в обморок», обнаружив в себе склонность к самоубийству, «боязнь кастрации» или «зависть к пенису». Но открыть такие вытесненные свойства личности, как нарциссизм, садизм, жажда неограниченной власти, отчуждение, раболепство, индифферентность, бессознательный отказ от своей личной целостности и т. д., обнаружить все это в себе, в политических лидерах, в общественной системе означало подложить под это общество мощный «социальный динамит». Сам Фрейд, живя в эпоху, когда все человеческие страдания объяснялись только инстинктами, никогда не выражал недовольства обществом, он занимался безличной категорией *Оно*. Но времена меняются, и то, что тогда было революционным, сегодня кажется совершенно нормальным. И теория влечений из гипотезы превратилась в ядро и смиренную рубашку ортодоксального психоанализа. Таким образом, фрейдовский интерес к проблеме человеческих страданий и страстей не получил дальнейшего развития.

По этой причине я считаю, что наименование психоана-

лиза теорией влечений, которое с формальной точки зрения является корректным, не отражает самой сути дела. Психопсихический анализ представляет собой главным образом теорию неосознанных импульсов, направленных на сопротивление или искажение реальности в соответствии с субъективными потребностями и ожиданиями («перенос»=сублимация); психоанализ – это учение о характере и о конфликтах между характерологическими страстями, органично присущими данной личности, и необходимостью самоограничения. Именно в этом ревизованном значении и применяет психоанализ автор данной работы. Я использую психоаналитический метод для исследования проблемы человеческой агрессивности и деструктивности (оставляя в стороне ядро фрейдовского открытия).

Тем временем все большее число психоаналитиков отказывается от фрейдовской теории либидо, хотя, как правило, они не способны заменить ее такой же точной и стройной теоретической конструкцией, поскольку «влечения», которые они изучают, не имеют достаточно глубоких корней ни в физиологии, ни в социальных условиях, ни в общественном сознании. Часто психоаналитики весьма поверхностно употребляют категории, которые мало чем отличаются от стереотипов, принятых в американской антропологии. (Ну хотя бы встречающаяся у Карен Хорни категория «потребность в конкуренции».) Правда, некоторые психоаналитики (в основном под влиянием Адольфа Майера²⁵), отказавшись от

фрейдовской теории либидо, создали новую теорию, которая, по-моему, является более продуктивной и многообещающей. Они изучали сначала только шизофреников и на этом материале достигли глубокого понимания бессознательных процессов в человеческих отношениях. Поскольку они больше не испытывают неудобств и не замыкаются в узкие рамки теории либидо (с ее обязательным набором действующих лиц: *Я*, *Оно* и *Сверх-Я*)²⁶, они свободно описывают все, что происходит в отношениях между двумя людьми, которые оказываются в роли партнеров. К выдающимся представителям этой школы относятся, наряду с Адольфом Майером, Гарри Стэк Салливан, Фрида Фромм-Райхман и Теодор Лидц. Блистательно удается анализ Р. Д. Лейнгу, потому что он не только глубоко исследует личные и субъективные факторы, но и выявляет и непредвзято описывает картину нашей социальной жизни (абстрагируясь от не критических оценок нашего общества как психически здорового). Представителями творческого психоанализа являются также Винникот, Фэрбрэйн, Балинти Гантрип – люди, которые превратили этот метод из способа лечения либидозных фрустраций в «теорию и практику возрождения человеческой личности и восстановления ее подлинного *Я* (110, 1971, с. 53). Они делают то, чего избегают некоторые так называемые экзистенциалисты (например, Л. Бинсвангер), заменяющие точные клинические данные абстрактно-философскими рассуждениями о межличностных отношениях.

Часть вторая

Открытия, опровергающие инстинктивистов

V. Нейрофизиология

Здесь будет показано, как точные научные данные нейрофизиологии, психологии животных, палеонтологии и антропологии опровергают гипотезу о том, что в человеке от рождения заложен спонтанный саморазвивающийся инстинкт агрессивности.

Отношения между психологией и нейрофизиологией

Прежде чем начать обсуждение нейрофизиологических данных, необходимо сказать несколько слов о взаимоотношениях между психологией – наукой о душе и нейрофизиологией – наукой о нервной системе.

Каждая наука имеет свой предмет и свои методы, и направление исследований часто определяется возможностью применения этих методов для анализа конкретных данных.

Трудно ожидать, что нейрофизиолог пойдет тем путем, который является наиболее приемлемым с точки зрения психолога, и наоборот. И все же можно ожидать, что обе науки сотрудничают в тесном контакте и поддерживают друг друга. Но сотрудничество возможно только в том случае, если обе стороны располагают хотя бы минимумом необходимых знаний, позволяющих им понять язык другой науки и правильно оценить факты. Если бы ученые из разных областей знания работали в тесном контакте друг с другом, они бы увидели, что данные, добытые в лабораториях, могли бы принести гораздо больше пользы, если бы были доступны также и представителям смежных областей и увязаны в одну систему. Сказанное относится и к проблеме оборонительной агрессивности.

Однако чаще всего психологические и нейрофизиологические исследования «варятся каждое в своем соку», и специалист по неврологии в настоящее время даже не в состоянии удовлетворить потребность психолога в информации: он не может, например, ответить на вопрос, какие нейрофизиологические показатели эквивалентны таким страстям, как деструктивность, садизм, мазохизм или нарциссизм; да и психолог мало чем может быть полезен нейрофизиологу⁵⁸.

⁵⁸ Данное суждение следует дополнить указанием, что в этом направлении уже были предприняты серьезные шаги. Например, покойный Рауль Эрнандес Педон пытался обнаружить нейрофизиологический эквивалент активности сновидений; Р. Р. Хит исследовал нейрофизиологические основания депрессии и шизофрении, а Маклин искал в мозгу особенности, связанные с паранойей. Соб-

Складывается впечатление, что каждой науке лучше идти своим путем и решать свои проблемы, пока в один прекрасный день они не сойдутся в одной точке, исследовав одну и ту же проблему – каждый своим методом. И тогда можно будет сравнить результаты и подвести итоги. Конечно, было бы странно, если бы каждая наука для подтверждения или опровержения своих гипотез дожидалась результатов исследований других наук. И пока психологическая теория не получила ясных и убедительных опровержений со стороны нейрофизиологии, психолог не должен сомневаться в своих знаниях, если они опираются на правильное наблюдение и верную интерпретацию данных. Об отношениях этих двух научных дисциплин есть хорошее высказывание у Р. В. Ливингстона.

Пора прекратить соревнование между обеими дисциплинами. С кем нам бороться? Только с собственным невежеством. Есть много областей, в которых необходима совместная работа исследователей мозга и специалистов в области поведения. Но мы не достигнем большего понимания, пока не внесем изменения в наши нынешние концепции. А для этого также нужны талантливые исследователи и теоретики (162, 1962).

Многочисленные научно-популярные издания создали иллюзию того, что нейрофизиологи нашли объяснения мно-

ственный вклад Фрейда в нейрофизиологию описан К. Прибрамом (222, 1962), П. Аммахером (11, 1962) и Р. Хольтом (137, 1965).

гих проблем человеческого поведения. Однако большинство специалистов из этой области знания придерживаются совершенно иной точки зрения. Так, Т. Баллок, специалист в области нервной системы беспозвоночных, электрических рыб и морских млекопитающих, начинает свой труд «О развитии нейрофизиологических механизмов» со слов об «отрицании нашей способности на сегодняшний день сделать серьезный вклад в решение реальных проблем» и утверждает, что «мы, по существу, не имеем ни малейшего представления об участии нейронов в механизме процесса обучения, о физиологическом субстрате инстинктивного поведения или других более сложных проявлениях поведенческих реакций» (49, 1961).

Аналогичные мысли мы находим у Биргера Каады:

Наши знания и представления о механизмах формирования агрессивного поведения в центральной нервной системе ограничены тем, что информацию мы получаем в основном из экспериментов над животными, и потому мы почти ничего не можем сказать об отношении центральной нервной системы к «аффективным» аспектам эмоций. А интерпретировать поведение только на основе анализа внешних феноменов и периферийных телесных изменений явно недостаточно (143, 1967, с. 95).

К такому же выводу приходит и У. Пенфилд – один из крупнейших неврологов Запада.

Тот, кто надеется решить проблему духа и души с позиции нейрофизиологии, похож на человека, стоящего у подножия горы. Человек стоит на полянке и смотрит вверх, готовый взобраться на гору. Но вершина всегда закрыта облаками, и поэтому многие считают, что она вообще недостижима. И если настанет день, когда человек дойдет до полного понимания устройства своего мозга и своего сознания, то это можно будет считать его величайшим завоеванием и окончательной победой.

Но в исследовательской работе ученого существует только один метод – наблюдение явлений природы и сравнительный анализ экспериментальных результатов на базе тщательного разработанной гипотезы. И нейрофизиологи, для которых этот метод единственный, должны честно признать, что на основе собственных исследовательских данных они вряд ли смогут дать ответ на поставленные вопросы (212, 1960, с. 1441)⁵⁹.

⁵⁹ Не только неврология и физиология должны объединиться, когда речь идет о таком сложном «предмете», как человек; необходима интеграция многих других областей знания, таких как палеонтология, антропология, история, история религии, биология, физиология и генетика. Если мы хотим создать науку о человеке, то нас интересует человек как целостное и с биологической и с исторической точки зрения существо, понять которое можно, только исходя из запутанности и переплетенности всех этих аспектов, сознавая, что это существо постоянно развивается и процесс его развития протекает внутри сложной системы, имеющей многочисленные подсистемы. «Науки о поведении» (это понятие получило популярность благодаря Фонду Рокфеллера) – психология и социология – интересуются преимущественно тем, что человек делает и как его заставить это

Некоторые неврологи в целом более или менее пессимистически оценивают перспективы сближения неврологии и психологии, а также возможный вклад современной нейрофизиологии в объяснение механизмов человеческого поведения. Этот пессимизм выражают Х. фон Фёрстер и Т. Мельничук⁶⁰, Н. Р. Матурана и Ф. С. Варела (178, 1972). Критически высказывается по этому поводу и Ф. Г. Ворден (284, 1975, с. 209)⁶¹.

Из многочисленных устных и письменных высказываний исследователей мозга я понял, что многие разделяют это мнение: мозг все чаще рассматривается как целое, как система, и ясно, что ни один из элементов этой системы в отдельности не в состоянии объяснить поведение человека. Убедительные данные в подтверждение этой мысли приводит Э. Валенштайн (271, 1968). Он показал, что врожденные и связанные с гипоталамусом «центры» голода, жажды, сексуальности и другие (если они вообще существуют) не размещены в чистом виде в каких-то точках мозга, как это предполагалось раньше, когда думали, что раздражение одного «цен-

делать. Их вовсе не касается вопрос, почему он это делает и кто он есть. Поэтому они представляют определенное препятствие на пути развития интегрированной науки о человеке.

⁶⁰ Х. Фёрстер и Т. Мельничук рассказали о своих взглядах в личных беседах со мной.

⁶¹ Благодарю авторов за предоставленную возможность ознакомиться с рукописями до их публикации.

тра» может вызвать поведение, предписанное другому центру, если окружение будет давать стимулирующие раздражители, созвучные второму центру.

Д. Плуг (219, 1970) показал, что «агрессия» (точнее, невербальная реакция на угрозу) маленькой обезьянки не принимается всерьез другими обезьянами, если угроза исходит от обезьяны, имеющей более низкий социальный статус. Эти факты совпадают с холистской точкой зрения, которая утверждает следующее: когда мозг решает, каким приказом вызвать то или иное поведение, он принимает во внимание не только сигналы прямого стимулирования, но и общее состояние природного и социального окружения, которое в этот момент является для объекта дополнительным раздражителем и может вносить в его поведение свои коррективы.

Скептицизм по поводу возможностей нейрофизиологии дать адекватное объяснение человеческому поведению во все не означает, что тем самым ставится под сомнение истинность (и пригодность для сравнительного анализа) многих экспериментальных данных последних десятилетий. Эти данные имеют достаточно важное значение хотя бы потому, что предоставляют богатый материал для понимания одной из форм агрессии (оборонительной), особенно если такой материал умело классифицировать, привести в систему и описать при помощи новой терминологии.

Мозг как основа агрессивного поведения⁶²

Исследование проблемы отношений между функцией мозга и поведением индивида с самого начала было определено дарвиновским тезисом о том, что структура и функция мозга подчинены принципу сохранения индивида и вида.

С тех пор нейрофизиологи главным образом сосредоточили свое внимание на том, чтобы обнаружить участки мозга, ответственные за элементарные рефлексy, а также за необходимые для выживания способы поведения. Общеизвестным является утверждение Маклина, который обозначил основные механизмы (направления) работы мозга аббревиатурой из четырех букв «Ф», означающих четыре вида деятельности: «питаться (feeding), драться (fighting), убегать (fleeing) и... заниматься сексом». Ясно, что эти четыре рода деятельности жизненно необходимы для сохранения индивида и вида. (О том, что для функционирования человека и человечества необходимо реализовать еще и другие потребности, выходящие за рамки простого выживания, будет

⁶² При обсуждении этой проблемы я собираюсь остановиться только на общепризнанных данных. За последние 20 лет в этой области проделана такая огромная работа, что я чувствую себя недостаточно компетентным, чтобы вдаваться в нюансы нескольких десятков специальных проблем. К тому же я считаю ненужным приводить цитаты из упоминаемой мною и очень обширной литературы.

далее отдельный разговор.)

Сначала об агрессии и бегстве. Как утверждают исследователи (В. Р. Гесс, Д. Олдс, Р. Р. Хит, Х. М. Р. Дельгадо и др.), эти импульсы «контролируются» разными участками мозга⁶³. Так, например, экспериментально установлено, что, стимулируя определенные участки мозга, можно усилить аффект гнева (и соответствующую модель поведения), а можно и затормозить. Например, активизация зависит от промежуточного мозга, латерального гипоталамуса, центрального серого вещества, а раздражение таких структур, как Septum, Cingulum-Windung или Nucleus caudatus, препятствует возникновению подобных аффектов⁶⁴. Некоторые исследователи достигли утонченного хирургического мастерства при операциях вживления электродов в определенные участки мозга. Это Гесс (132, 1954), Олдс (207, 1954), Мильнер (122, 1962), Дельгадо (69, 1967; 1969)⁶⁵. Они имели возможность проводить наблюдения в двух направле-

⁶³ Некоторые из названных авторов считают слово «контролируется» совершенно неподходящим. По их мнению, реакция организма наступает в ответ на процессы, происходящие в других участках мозга, а с одним участком (который специально стимулируется) эти процессы взаимодействуют.

⁶⁴ Неокортекс также играет преимущественно стимулирующую роль и вызывает гнев и соответствующее поведение (см. эксперимент К. Акерта с удалением неокортекса, описанный в работе Б. Каады 143, 1967).

⁶⁵ Работы Х. М. Р. Дельгадо отличаются обширной библиографией. См. также недавно вышедшую работу В. Марка и Ф. Эрвина (171, 1979), в которой кратко и ясно даже для неспециалиста излагаются весьма ценные данные о нейрофизиологических основаниях агрессивного поведения.

ниях: например, фиксировать яркое проявление агрессивного поведения в результате прямого электрического раздражения определенных участков, с одной стороны, и с другой – фиксировать торможение агрессивности путем раздражения других зон. Одновременно они научились измерять электрическую активность этих различных участков мозга, когда испытуемые демонстрировали эмоциональные реакции на внешний раздражитель: гнев, страх, желание и т. д. Кроме того, им удалось наблюдать далеко идущие последствия повреждений отдельных участков мозга.

В самом деле, ни один свидетель не может забыть свои впечатления, когда сравнительно небольшое увеличение электрического заряда в электроде (вживленном в зону агрессии) могло вызвать внезапный взрыв неконтролируемой убийственной ярости, а включение стимула торможения вызывало реакцию мгновенного исчезновения агрессии. Значительный интерес к испытаниям подобного рода вызвал «театральный» эксперимент Дельгадо, в котором он удерживал на арене быка (под потоком стрел) с помощью дистанционного воздействия на мозговые зоны, тормозящие агрессивность (69, 1969).

Тот факт, что в одних зонах реакция активизируется, а в других сдерживается, сам по себе не является какой-либо особой приметой агрессивности. Такая двойственность (биполярность) характерна и для других рефлексов. Мозг вообще организован по типу биполярных систем. Когда не ра-

ботають специальные раздражители (внутренние или внешние), агрессивность находится в состоянии подвижного равновесия, ибо зона возбуждения и зона торможения довольно стойко уравнивают друг друга. Это особенно четко проявляется, когда одна из зон оказывается поврежденной. Генрих Клювер и П. Буци (150, 1934) в своем классическом эксперименте впервые показали, что у резусов, диких кошек, крыс при повреждении определенных участков головного мозга (Amygdala) наступали такие серьезные изменения, что они (на некоторое время) – даже при сильной провокации – полностью утрачивали способность к проявлению агрессивных реакций (171, 1970, с. 28). С другой стороны, повреждение участков, тормозящих агрессию (например, маленькой зоны вентромедиального ядра гипоталамуса), ведет к состоянию перманентной агрессивности кошек и крыс.

Вследствие дуальной (биполярной) организации полушарий мозга возникает важный вопрос, какие факторы нарушают равновесие и провоцируют открытую ярость и соответствующее разрушительное (агрессивное) поведение. Мы видели, что нарушения такого рода могут наступить, с одной стороны, от электрического раздражителя, а с другой – вследствие выведения из строя тормозящих центров (не считая гормональных и метаболических изменений). Марк и Эрвин обращают внимание на то, что нарушения равновесия могут быть вызваны еще и разного рода мозговыми за-

болеваниями.

А какие условия нарушают равновесие в сторону мобилизации агрессивности, не считая двух экспериментальных ситуаций и одной патологической? Каковы причины «врожденной» агрессивности у зверей и у людей?

Защитная функция агрессивности

Когда читаешь литературу по проблеме агрессивности людей и животных, то вывод кажется однозначным и неизбежным: агрессивное поведение животных является реакцией *на любую угрозу жизни*, или, другими словами, *на угрозу витальным интересам живого существа* как индивида и как члена своего вида. Это общее определение годится для самых различных ситуаций. Самая явная ситуация – это прямая угроза жизни индивида или угроза его жизненно важным потребностям (в пище и в сексе); комплексная форма такой угрозы – «crowding» (скученность), сужение пространства, ограничение свободы передвижения или сужение социальной структуры (ближайшего окружения, группы). Собственно говоря, для всех ситуаций, провоцирующих, возбуждающих агрессивное поведение, характерна одна общая черта – они представляют угрозу витальным интересам. Поэтому мобилизация агрессии в соответствующих зонах мозга происходит во имя жизни, как реакция на угрозу жизни индивида и вида; это означает, что *филогенетически заложен-*

ная агрессия, встречающаяся у людей и животных, есть не что иное, как приспособительная, защитная реакция. Подобное суждение никого не удивит, если вспомнить дарвиновскую посылку о развитии мозга. Поскольку функция мозга состоит в том, чтобы обеспечивать сохранение жизни, то естественно, что он заботится о непосредственных реакциях на любую угрозу жизни. Но ведь агрессия – это отнюдь не единственная реакция на угрозу. Животное на угрозу своему существованию реагирует либо яростью и нападением, либо проявлением страха и бегством. Причем в действительности, кажется, бегство является более распространенной формой реагирования (не считая тех случаев, когда возможность бегства исключена и животное вступает в бой ради выживания).

Гесс первым открыл, что кошка при электрическом возбуждении определенных зон гипоталамуса либо нападает, либо спасается бегством. Он свел обе эти формы поведения в одну и назвал ее *«защитной реакцией»*, чтобы подчеркнуть, что обе реакции помогают животному защитить свою жизнь. Нервные волокна, а также нервные центры нападения и бегства находятся очень близко друг к другу, но все-таки четко разделены. После работ Гесса, Магоуна и других пионеров экспериментального изучения мозга эта тема привлекла внимание многих исследователей (это прежде всего Гунспергер и его группа в лаборатории Гесса, а также Романюк, Левинсон и Флинн)⁶⁶. И хотя разные ученые пришли к

⁶⁶ Подробный анализ и дискуссия по поводу этих работ содержатся в упоми-

различным результатам, но в целом они все-таки подтвердили основные посылки Гесса.

Вот как подводят итоги нынешнего состояния исследований Марк и Эрвин:

Животное любого вида реагирует на опасность одной из двух форм поведения: либо бегством, либо агрессивностью и насилием – это и есть борьба. При управлении любым поведением мозг функционирует как целостная структура; в результате этого механизмы мозга, влияющие на две различные формы самосохранения, находятся в тесной связи друг с другом и со всеми другими частями мозга; а четкое функционирование этой системы зависит от синхронизации многих сложных и тончайшим образом сбалансированных подсистем (171, 1970, с. 14).

Инстинкт «бегства»

Данные о борьбе и бегстве как защитных реакциях проливают неожиданный свет на инстинктивистские теории агрессии. Получается, что рефлекс бегства (в плане нейрофизиологии и поведения) играет ту же самую, если не более важную роль в поведении животных, что и рефлекс борьбы. На уровне физиологии мозга оба импульса имеют совершенно одинаковую степень интеграции, и нет никаких оснований

навшейся уже книге Каады (143, 1967).

предполагать, что агрессивность является более «естественной» реакцией, чем бегство. Почему же исследователи инстинктов и влечений твердят об интенсивности врожденных рефлексов агрессивности и ни словом не упоминают о врожденном рефлексе бегства?

Если рассуждения этих «теоретиков» о рефлексе борьбы перенести на рефлекс бегства, то едва ли не придется констатировать следующее: «Человека ведет по жизни врожденный рефлекс бегства; он может попытаться взять его под контроль, но это даст лишь незначительный эффект, даже если он найдет способы для приглушения этой “жажды бегства”».

Воистину странное и неожиданное впечатление производит подобная концепция, ядром которой является «неконтролируемая жажда (инстинкт) бегства», особенно в свете расхожих представлений об угрозе для социума врожденной человеческой агрессивности (а такие представления на протяжении веков внушали пастве десятки мыслителей и ученых – от раннехристианских проповедников до экспериментатора Конрада Лоренца). И все же с точки зрения физиологии мозга она имеет такие же точно основания, как и концепция «неконтролируемой агрессивности». Более того, с биологических позиций бегство даже надежнее служит самосохранению, чем драка. Кого не удивит этим выводом, так это политических и военных лидеров. Они-то давно знают, что по природе своей человек не склонен к героизму; они на опыте убедились, как много усилий требуется, что-

бы заставить его идти в бой и удержать от бегства. Если бы историку пришел в голову такой вопрос: «какой из инстинктов проявил себя больше в человеческой истории – инстинкт бегства или инстинкт борьбы, – вероятно, ответ был бы однозначным: история определялась не столько агрессивными инстинктами, сколько попыткой подавить в человеке инстинкт бегства. Если вдуматься, то скоро поймешь, что именно этой цели служит большинство социальных институтов и весь идеологический арсенал. Только под страхом смерти удавалось внушить солдатам чувство уважения к мудрости вождя и веру в понятие «чести». Их обманывали и подкупали, спаивали и обольщали, терроризировали, угрожая приклеить ярлык труса или предателя.

Исторический анализ данной проблемы мог бы показать, что подавление рефлекса бегства и видимость доминирующего положения рефлексов борьбы – все это в основном связано не с биологическими, а с культурными факторами. По поводу этих размышлений я хотел бы еще напомнить о том, что этологи не раз высказывались в пользу понятия *Homo agressivus* (человек агрессивный); но как бы там ни было, а факт остается фактом, что в мозг человека и животного вмонтирован специальный (нейро-) механизм, мобилизующий агрессивное поведение (или бегство) в качестве реакции на угрозу жизни индивида или вида, и что эта разновидность агрессивности имеет биологически адаптационную функцию и служит делу жизни.

Поведение хищников и агрессивность

Существует еще одна разновидность агрессивности, которая породила много путаницы, – это агрессивность животных-хищников. В зоологии они четко определены; к ним относятся семейства кошек, гиен, волков и медведей⁶⁷. Существует довольно много экспериментальных доказательств того, что нейрологическая основа агрессивности хищников отличается от защитной агрессивности⁶⁸. Лоренц с этологической точки зрения занимает такую же позицию:

Внутренние физиологические мотивы у охотника и бойца совершенно различны. Буйвол, которого свалил лев, настолько же мало вызывает его агрессивность, как во мне может вызвать гнев индюк, которого я только что видел подвешенным в кладовой. Даже движения и мимика очень четко демонстрируют это различие. Собака в погоне за зайцем, полная охотничьего азарта, делает такое же напряженно-радостное выражение

⁶⁷ Медведи с трудом укладываются в эту классификацию. Некоторые из них всеядны, они убивают маленьких зверей или раненых и едят их мясо, но сами не охотятся. С другой стороны, белый медведь, живущий в экстремальных климатических условиях, является настоящим охотником и хищником.

⁶⁸ Марк и Эрвин в названной выше работе (171, 1970, с. 33–38) высказывают такое же мнение, которое получило подтверждение в результатах исследования Эггера и Флинна. Они стимулировали специальную зону в латеральной части гипоталамуса и тем самым вызывали у животных такое поведение, которое напоминает подготовку к охоте (82, 1963).

«лица», как и в момент приветствия хозяина или в преддверии другого радостного события. Так и на «лице» льва (на хороших фотографиях это отчетливо просматривается) в драматический миг перед прыжком мы видим выражение, которое совершенно не похоже на злость. А ворчит он, прижимает уши и делает другие движения, символизирующие боевое поведение, тогда, когда очень напуган или столкнулся с невероятно сильной жертвой (163, 1963, с. 40).

К. Мойер на основании доступных ему данных о нейрофизиологических основах агрессивности выделяет агрессивность хищников из всех других ее типов и утверждает, что это различие все больше получает экспериментальное подтверждение (197, 1968, с. 68).

Специфика поведения хищников состоит не только в различном состоянии самого субстрата мозга (мозг нападающего зверя и мозг обороняющегося дают различную картину), но и поведение у них разное. Поведение хищника не следует путать с воинственным поведением: он не проявляет гнева, но точно и четко направлен на свою добычу, и его напряженность проходит, только когда цель – пища – достигнута. Инстинкт хищника несколько не похож на оборонительный рефлекс, который существует практически у всех животных, инстинкт хищника относится только к добыванию пищи и присущ определенным видам животных, которые имеют соответствующее строение. Мы не станем, разу-

меется, отрицать, что поведение хищников агрессивно⁶⁹, но нельзя не видеть, что эта агрессивность отличается от яростной и злобной агрессивности, которая вызывается наличием угрозы. Ее можно было бы назвать «инструментальной», ибо она служит достижению желаемой цели. У других животных, не хищников, такой вид агрессивности не встречается.

Разграничение оборонительной агрессивности и агрессивности хищников имеет значение для изучения проблемы человеческой агрессивности. Ведь человек в своем филогенезе не был хищником, и потому в своей агрессивности (в смысле нейрофизиологических процессов) он отличается от хищников. Не следует забывать, что человеческие челюсти («прикус») «плохо приспособлены к мясоедству, ибо человек до сих пор сохранил форму зубов своих вегетарианских предков. Кстати, небезынтересно, что и система пищеварения у человека имеет все физиологические признаки вегетарианства, а не мясоедства» (201, 1970, с. 151). Как известно, даже у первобытных охотников и земледельцев пища на 75 % была вегетарианской и лишь на 25 % мясной⁷⁰.

Как утверждает И. Де Вор, «пища первобытных людей в основном состояла из растений. То же самое относится и к

⁶⁹ Немаловажным является тот факт, что многие хищники (например, волки) не проявляют агрессивности к товарищам по виду. И это находит свое выражение не только в том, что они друг друга не убивают, но и в том, что в своем общении они довольно дружелюбно относятся друг к другу.

⁷⁰ В целом проблема приписываемых человеку «хищнических признаков» будет обсуждаться в главе VII.

современным человеческим сообществам с примитивными формами хозяйства (за исключением эскимосов)... Бушмены, например, на 80 % питались орехами, которые сами добывали и обрабатывали, поэтому в их захоронениях археологи часто рядом с колчаном для стрел находят камни, похожие на жернов. Некоторые археологи, правда, интерпретировали эти находки совсем иначе: предполагали, что жернова применялись для размалывания костей, из которых добывался мозг» (72, 1965). И все же именно образ хищника сыграл основную роль в формировании представлений о врожденной агрессивности животного, а косвенно и человека. Ведь человек испокон веков общается с бывшими хищниками – кошкой и собакой. Потому-то он их и приручил; они ему и нужны в этом качестве: собака – для охоты на других зверей (и людей), кошка – для охоты на мышей и крыс. Кроме того, человеческие племена вечно страдали от таких хищников, как волк и лиса⁷¹. Таким образом, человек так давно окружил себя хищниками, что он, конечно, был не в состоянии увидеть разницу между хищнической и оборонительной агрессивностью, поскольку результатом обеих форм поведения было убийство. Кроме того, он не мог наблюдать этих животных в их собственной среде обитания и заметить их дружелюбное отношение к своим собратьям.

⁷¹ Ведь не случайно у Гоббса появился такой образ для характеристики человеческих отношений: человек человеку – волк. Интересно с этой точки зрения проследить популярность сказок с такими героями, как волк и лиса.

Итак, вывод, к которому мы пришли, в основном подтверждает точку зрения крупнейших исследователей проблемы агрессивности – Дж. П. Скотта и Леонарда Берковича, хотя у них есть и некоторые различия. Скотт, в частности, пишет: «Человек, счастливым образом оказавшийся в таком социальном окружении, которое не провоцирует на борьбу, не получает никаких физиологических или нервных перегрузок, ибо он никогда ни с кем не сражается. Борьба – это ведь совершенно особая ситуация, ее не сравнишь с физиологией питания, где внутренние процессы метаболизма ведут к определенным физиологическим изменениям, которые затем вызывают голод и вновь стимулируют потребность в еде без всяких внешних к тому стимулов» (241, 1958, с. 62). А Беркович говорит о *schaltplan*, или «готовности», предрасположенности к агрессивной реакции на известные раздражители, а не об «агрессивной энергии», передающейся с генами по наследству (30, 1967).

Данные нейрофизиологии, таким образом, помогли нам очертить некий круг понятий, связанных с таким видом агрессивности, который способствует биологической приспособляемости организма, сохранению рода, – я ее назвал оборонительной агрессивностью. Мы привлекли эти данные, чтобы показать, что у человека потенциально существуют предпосылки агрессивности, которые мобилизуются перед лицом витальной угрозы. Но никакие нейрофизиологические данные не имеют отношения к *той форме агрессив-*

ности, которая характерна только для человека и отсутствует у других млекопитающих, – это склонность к убийству как самоцели, желание мучить без всякой на то «причины» не ради сохранения своей жизни, а ради доставления себе удовольствия⁷².

Невропатологи еще не занимались этими аффектами (не считая тех случаев, которые были вызваны болезнями мозга), однако можно с уверенностью утверждать, что инстинктивистски-гидравлическая модель Конрада Лоренца не подходит для описания того механизма функционирования мозга, который представлен в экспериментальных данных нейрофизиологии.

VI. Поведение животных

Вторая важная область для эмпирической проверки правомерности инстинктивистской теории агрессивности – это поведение животных. В агрессии животных можно выделить три типа: 1. Агрессия хищников; 2. Агрессивность внутривидовая и 3. Агрессивность межвидовая (против животных других видов).

Все исследователи мира животных (включая К. Лоренца) едины в том, что образцы поведения и мозговые процессы хищников не совпадают с другими типами агрессивности и

⁷² Выделение курсивом Фромм сделал специально для немецкого издания. – *Примеч. ред.*

потому должны обсуждаться отдельно.

Что касается *межвидовой* агрессивности, то здесь большинство исследователей утверждают, что животные очень редко убивают представителей другого вида, за исключением случаев самозащиты при невозможности спастись бегством. Это сужает феномен «животной» агрессивности до одного-единственного типа – агрессивности между животными одного и того же вида. Исключительно этим аспектом и занимается всю жизнь Конрад Лоренц.

Внутривидовая агрессивность имеет следующие признаки:

а) у большинства млекопитающих она не носит кровавого характера и не имеет цели мучить или убить «сородича»; агрессивность выполняет в основном роль угрожающего предупреждения. У большинства млекопитающих имеется много зубов; между особями бывают ссоры и стычки, но дело редко доходит до кровавых и смертельных драк, как у людей;

б) деструктивное поведение наблюдается только у ряда насекомых, рыб и птиц, а из млекопитающих – только у крыс;

в) угрожающая поза – это реакция на то, что животное воспринимает как угрозу своим витальным интересам; и поэтому с позиций неврологии такое поведение можно считать «оборонительной агрессивностью»;

г) нет ни одного доказательства того, что у большинства млекопитающих якобы существует спонтанный агрессивный

импульс, который накапливается и сдерживается до того момента, пока «подвернется» подходящий повод для разрядки.

Пока речь идет об оборонительной агрессивности, можно утверждать, что она опирается на определенные филогенетические нейронные структуры, и потому не было бы никаких оснований спорить с Лоренцом, если бы не его «гидравлическая модель» и не его убежденность в том, что жестокость и деструктивность человека являются врожденными качествами и по происхождению восходят к оборонительной агрессивности.

Человек – это единственная особь среди млекопитающих, способная к садизму и убийству в огромных масштабах. В последующих главах я попытаюсь найти объяснение этому факту. А в данной главе о поведении животных я только хочу, в частности, показать, что многие из них вступают в борьбу со своими собственными сородичами, но при этом их поведение не имеет ничего общего с деструктивностью, а также что наши данные о жизни млекопитающих вообще (и приматов, в частности) не позволяют обнаружить никаких следов врожденной «деструктивности», которые бы человек мог приобрести по наследству. И если бы человеческий род на самом деле был наделен «врожденной агрессивностью» лишь в той мере, в какой она проявляется у шимпанзе (в их среде обитания), то мы жили бы на сравнительно мирной Земле.

Агрессивность в неволе

При изучении агрессивности животных, особенно приматов, с самого начала важно отличать их поведение в среде обитания от поведения в неволе (в основном – в зоопарке). Наблюдения показывают, что приматы на воле малоагрессивны, хотя в зоопарке их поведение нередко деструктивно.

Это обстоятельство имеет огромное значение для понимания агрессивности человека, ибо на протяжении всей своей истории, включая современность, человека вряд ли можно считать живущим в «естественной среде обитания». Исключения составляют разве что древние охотники и собиратели плодов, да первые земледельцы до V тысячелетия до н. э. «Цивилизованный» человек всегда жил в «зоопарке», т. е. в условиях несвободы или даже заключения разной степени строгости. Это характерно и для самых развитых социальных систем.

Я хотел бы для начала привести несколько примеров с приматами, ибо их жизнь в условиях зоопарка описана достаточно подробно. Лучше всех изучены, пожалуй, павианы, которых в течение нескольких лет наблюдал Солли Цукерман, работая в зоопарке Лондонского королевского парка (1929–1930). Их жилище (на Обезьяньей Горе) имело 30 м в длину и 18 м в ширину и для зоопарка казалось довольно большим, но в сравнении с естественными условиями оно

конечно же было чрезвычайно скромным. Цукерман наблюдал у этих животных проявления сильного напряжения и озлобленности. Более сильные особи жестоко подавляли более слабых, и даже матери отнимали пищу у своих детенышей. Особенно страдали самки и детеныши, которые в схватках получали травмы, а иногда и погибали. Цукерман наблюдал, как один самец дважды намеренно атаковал юнца, а вечером того нашли мертвым. Восемь из 61 самца умерли насильственной смертью, а многие другие прошли через «лазарет» (291, 1932).

Поведение приматов в условиях зоопарка в 50-е гг. исследовали и другие видные ученые: Ханс Куммер (Цюрих) (155, 1951) и Вернон Рейнольдс (Англия) (230, 1961)⁷³. Куммер содержал павианов в большом загоне (размером 14 на 25 м). И там происходили серьезные драки с тяжелыми ранениями (укусами). Куммер провел серию очень точных сравнительных исследований в зоопарке и в диких условиях (в Эфиопии) и установил, что агрессивность в зоопарке проявляется у самок в 9, а у самцов в 17,5 раза чаще, чем на свободе.

Вернон Рейнольдс изучал 24 резуса, помещенных в небольшой восьмиугольный загон-клетку (со стенками 9 м). Хотя помещение было меньше, чем на Обезьяньей Горе, обезьяны реже проявляли агрессивность. И все же насилие и здесь наблюдалось чаще, чем на свободе. Многие животные получали ранения – одну тяжелораненую самочку даже при-

⁷³ Цит. по: 233, 1971, с. 107 и далее.

шлось пристрелить. Особенно интересные факты о влиянии экологических условий на агрессивность можно найти в исследованиях о макаках у таких авторов, как С. Саусвик, М. Бег и М. Сиддики (252, 1965; 1967). Саусвик установил, что окружение и социальные условия у лишенных свободы макак-резусов оказывали серьезное влияние на форму и повторяемость «агонистического» (т. е. конфликтного) поведения. Это исследование позволяет нам провести различие между изменением окружающих условий (например, количество животных в одном и том же помещении) и социальными изменениями (например, включение новых животных в уже устоявшуюся группу). Выяснилось, что уменьшение «жилплощади» часто вызывает усиление агрессивности, но гораздо более резкое увеличение агрессивных столкновений было связано с изменением социальной структуры (введение новеньких в группу) (252, 1967, с. 201).

Было установлено, что и у других млекопитающих сужение «жизненного пространства» ведет к агрессивному поведению. Так, Мэтьюз отмечал, что ему не известно ни одного случая драки млекопитающих со смертельным исходом, кроме тех ситуаций, когда животные жили в тесноте (177, 1963).

Выдающийся этолог Пауль Лейхаузен указывает, что у кошек полностью нарушается относительное соподчинение, если они оказываются в тесном помещении. Чем теснее клетка, тем меньше подчинения. В конечном счете одна кошка

превращается в деспота, другие становятся объектом безжалостных издевательств, и в конце концов у всех обнаруживаются различные симптомы неврозов. Обитатели клетки превращаются в злобную массу: напряженность в ней никогда не ослабевает, никто никогда не выглядит довольным, постоянно слышны шипение, рычание и даже бывают стычки. Никаких игр, всякое движение и деятельность сводятся к минимуму (161, 1973, с. 163)⁷⁴.

Даже временное скопление животных в местах кормления вызывает усиление агрессивности. Зимой 1952 г. трое американских ученых – Кабо, Коллиас и Гуттингер – вели наблюдение за оленями вблизи реки Флэг в Висконсине (цит. по: 233, 1971, с. 194). Они сделали однозначный вывод, что частота драк зависит от числа животных в загоне, т. е. от плотности населения. Когда на площадке находилось от пяти до семи оленей, то наблюдалась одна драка в час. А если на этом же участке оказывались 23–30 животных, то в час случалось в среднем около 4,4 драки на одно животное. Аналогичные выводы сделал американский биолог Д. Колхаун, наблюдая за дикими крысами (54, 1948).

Важное значение имеет тот факт, что наличие большого количества *пищи* при большой тесноте «проживания» *не снижает* агрессивности. Это подтверждено наблюдениями в Лондоне: теснота была явно главной причиной агрессивного

⁷⁴ См. также исследование Лейхаузена (161, 1965) о влиянии тесноты обитания на людей.

поведения, хотя питание и остальные условия были хорошими.

Интересно наблюдение Саусвика, касающееся уменьшения рациона: снижение дневной порции пищи у резусов на 25 % не повлекло за собой никаких изменений в их соревновательных взаимодействиях, а сокращение рациона на 50 % даже привело к уменьшению соревновательного поведения⁷⁵. Данные об усилении агрессивности приматов в неволе (а это подтверждается и на примере поведения других млекопитающих) весьма убедительно доказывают, что скученность является главной предпосылкой усиления озлобленности и вражды. Но «перенаселение», скученность (crowding) – это только название, штамп, который довольно просто уводит нас в сторону от выяснения конкретной причины, от вычленения тех факторов, которые несут главную ответственность за рост агрессивности.

Может быть, у каждого индивида существует какая-то «естественная» потребность в минимальном жизненном пространстве?⁷⁶ Может быть, скученность мешает животному реализовать врожденную потребность в свободном движении и т. д.? А может быть, в тесноте животное всем телом чувствует угрозу и выдает агрессивную реакцию?

⁷⁵ Подобные явления подмечены и у людей: в ситуациях голода агрессивность скорее падает, чем возрастает.

⁷⁶ См. интересное исследование Т. Е. Холла о потребностях человека в пространстве (113, 1963; 1966).

Для ответа на все эти вопросы нужны еще многие исследования. Но результаты Саусвика показывают, что в феномене перенаселения надо различать как минимум два элемента, а именно: *сокращение пространства и разрушение социальной структуры*. Важность второго фактора подтверждает тот же Саусвик, когда, введя в группу одного или нескольких «чужаков», он удостоверился в том, что это приводит к страшной вспышке агрессивности, гораздо более сильной, чем при перенаселении. Конечно, нередко присутствуют оба фактора, и тогда трудно решить, какой из них в ответе за агрессивное поведение.

Каково бы ни было сочетание обоих этих факторов, ясно одно, что каждый из них может вызвать агрессивное поведение. Ибо сужение пространства ущемляет животное в его жизненно важных функциях – в функциях движения и игры, а также в реализации других его способностей. Поэтому «ущемленное в пространстве животное» чувствует некоторую угрозу своим витальным интересам и выдает агрессивную реакцию. А разрушение социальной структуры в группе представляет, с точки зрения Саусвика, еще более страшную угрозу. Ведь каждое животное живет в характерном для его рода социуме, к которому оно так или иначе приспособлено. Социальное равновесие является неизменной предпосылкой для его существования. Нарушение равновесия представляет для существования животного серьезную угрозу, в результате чего, принимая во внимание наличие оборонительной

функции агрессивности, должен последовать взрыв агрессивности, особенно если отсутствует возможность бегства.

В зоопарке скученность случается нередко (как она описана Цукерманом в случае с павианами). Причем чаще звери в зоопарке страдают не столько от замкнутости пространства, сколько от тесноты. Находясь в плену, они при любом уходе и отличной кормежке «не находят себе места». Кто думает, что для ощущения благополучия животному (или человеку) достаточно удовлетворения всех физиологических потребностей, тот может считать жизнь в зоопарке счастьем. Но паразитический образ жизни лишает ее всякой привлекательности, ибо исчезает возможность для проявления физической и психической активности, а следствием этого становится скука, безучастность и апатия. Вот наблюдение А. Кортланда: «В отличие от шимпанзе из зоопарка, которые чаще всего с годами выглядят все грустнее и “равнодушнее”, старые шимпанзе, живущие на воле, выглядят более оживленными, любопытными и более человеческими» (151, 1962, с. 131)⁷⁷.

Сходные выводы делают Гликман и Срогес, отмечающие монотонность жизни зверей в клетках зоопарка, которая приводит к «депрессии» (103, 1966).

⁷⁷ Яркий пример тому – описанный им случай с седой обезьяной, шимпанзе, который был вожаком, хотя физически был уже слабее многих своих молодых собратьев, но, очевидно, благодаря жизни на воле с ее многими радостями, у вожака сформировалась своего рода «мудрость», которая и сохраняла за ним реальное лидерство.

Перенаселенность и агрессивность у людей

После того, что мы узнали о влиянии тесноты на животных, возникает вопрос, не является ли этот фактор таким же значимым источником и человеческой агрессивности? Многие отвечают на этот вопрос однозначным «да». Лейхаузен, в частности, считает, что для лечения «неврозов», «бунтарства» и другой «агрессивности» лучший способ – это «обеспечение равновесия в человеческих объединениях, нахождение того оптимального численного состава группы, при котором возможно обеспечить контроль» (161, 1965, с. 261). Такого же мнения придерживаются братья Рассел (233, 1968; 1971).

Весьма распространенное отождествление «перенаселения», «скученности» (crowding) с «плотностью населения» привело к значительным заблуждениям. Так, Лейхаузен, с его упрощенным консервативным мышлением, совершенно не улавливает того факта, что проблема современного перенаселения имеет две стороны:

- нарушение жизнеспособной социальной структуры (особенно в индустриализованной части мира);
- нарушение соответствия между плотностью населения и социальными основами жизни (особенно в неиндустриальных обществах).

Человек нуждается в такой социальной системе, в которой

он имеет свое место, сравнительно стабильные связи, идеи и ценности, разделяемые другими членами группы. «Достижение» современного индустриального общества состоит в том, что оно пришло к существенной утрате традиционных связей, общих ценностей и целей. В массовом обществе человек чувствует себя изолированным и одиноким даже будучи частью массы; у него нет убеждений, которыми он мог бы поделиться с другими людьми, их заменяют лозунги и идеологические штампы, которые он черпает из средств массовой информации. Он превратился в А-том (греческий эквивалент латинского слова «in-dividuum», что в переводе значит «неделимый»). Единственная ниточка, которая связывает отдельных индивидов друг с другом, – это общие денежные интересы (которые одновременно являются и антагонистическими).

Эмиль Дюркгейм обозначил этот феномен²⁷ словом «аномия» и пришел к выводу, что аномия стала основной причиной роста самоубийств на фоне мощного процесса индустриализации. Дюркгейм понимал под аномией разрушение традиционных социальных связей, обусловленное тем, что роль настоящего коллектива отошла на второй план перед мощью государственной машины и всякая подлинная социальная жизнь просто исчезла. По мнению Дюркгейма, люди, живущие в современной политической системе, представляют собой «дезорганизованную пыль из разрозненных инди-

видов» (79, 1897)⁷⁸.

Другой выдающийся социолог, Фердинанд Теннис (267, 1926), анализируя социальные системы, провел разграничение между традиционной «общиной» (*gemeinschaft*) и современным обществом (*gesellschaft*), указывая, что последнее отличается полной утратой всех настоящих социальных связей.

Итак, есть множество примеров, доказывающих, что не высокая плотность населения сама по себе является причиной человеческой агрессивности, а ущербность социальной структуры, утрата настоящих человеческих связей и жизненных интересов. Особенно впечатляющий пример – это израильский киббуц²⁹; каждый киббуц густо населен и дает индивиду очень мало места для своей частной жизни. (Много лет тому назад, когда киббуцы жили еще очень бедно, это в еще большей степени было так.) Но у членов этого сообщества почти не наблюдалось симптомов агрессивности. То же самое относится ко многим объединениям по интересам в самых разных странах.

Еще один яркий пример представляют Голландия и Бельгия – две страны, жители которых вообще никогда не отличались агрессивностью, несмотря на самую высокую в мире плотность населения.

Трудно представить себе большую степень перенаселенности, чем та, которая имела место в Вудстоке или на ост-

⁷⁸ Такое мнение высказывает и Элтон Майо (179, 1933)²⁸.

рове Уайт во время молодежных фестивалей, однако никто не сталкивался там с проявлениями агрессивности³⁰. А 30 лет назад на острове Манхэттен плотность населения была одной из самых высоких в мире, однако тогда там не было таких страшных проявлений насилия, как сегодня.

Каждый, кто жил в многоэтажном доме на несколько сотен квартир, знает, что в таком доме семья может великолепно жить своей частной жизнью, не чувствуя ни малейших неудобств от соседей по лестничной клетке. И наоборот, в маленькой деревушке гораздо труднее спрятать свою личную жизнь, хотя дома отстоят друг от друга на достаточно большом расстоянии и плотность населения значительно меньше. Но здесь люди более внимательны друг к другу, они любят наблюдать и обсуждать жизнь соседей, и каждый постоянно чувствует себя в поле зрения других людей. Почти то же самое можно сказать и о небольших городских предместьях.

Эти примеры показывают, что агрессивность людей вызывается не высокой плотностью населения, как таковой, а, скорее, социальными, экономическими и культурными сопутствующими условиями.

Очевидно и другое: та перенаселенность (или плотность населения), которая идет рука об руку с *нищетой*, не только может, но и ведет к стрессовым ситуациям и агрессивности. Пример тому – большие города в Индии, а также гетто в американских городах. Перенаселение, а также теснота в бы-

ту могут вести к отрицательным последствиям в тех случаях, когда человек лишен элементарной «социальной ниши», возможности укрыться от нежелательного общения.

Перенаселенность в прямом смысле означает, что число людей, относящихся к определенному сообществу, превышает возможности экономического базиса, т. е. общество не в силах обеспечить своих членов достаточным количеством пищи, нормальными жилищными условиями, а также условиями труда и разумного досуга. Нет сомнения, что такое перенаселение может иметь самые горестные последствия и что число жителей должно быть сокращено до того уровня, который соответствует экономическому базису. Если же общество способно экономически обеспечить большое число людей на небольшой территории, то сама по себе высокая плотность населения не лишает отдельного гражданина возможности спокойно жить личной жизнью и не страдать от нежелательных контактов.

Однако обеспечение соответствующего жизненного стандарта – это только предпосылка для нормальной жизни человека и его защищенности от постоянного вторжения посторонних, оно еще не решает проблему *аномии*, понимаемой как недостаток общности. Оно не снимает потребности человека жить в мире с нормальными человеческими пропорциями и при этом осознавать себя личностью среди других личностей. От *аномии* индустриального общества можно будет избавиться лишь при условии радикального изме-

нения всей социальной и духовной структуры общества, т. е. когда индивид не только получит возможность жить в личной квартире и нормально питаться, но когда его интересы будут совпадать с интересами общества, т. е. когда основными принципами нашей общественной и личной жизни станут не потребительство и враждебность, а дружелюбие и творческая самореализация. А это возможно также и в условиях большой плотности населения, но при этом нужна другая идеология и другая общественная психология.

Отсюда следует, что все аналогии между миром людей и миром животных имеют свои ограничения. Животному «инстинктивное» знание подскажет, какое ему нужно жизненное пространство и какая социальная организация. Он и агрессивность проявляет инстинктивно, просто реагируя на «нарушение своих границ»... У него ведь нет другого способа отреагировать на угрозу своим витальным интересам. А у человека есть масса других возможностей. Он может изменить социальную структуру, может сам установить новые связи на основе общих ценностей. Поэтому позволительно сказать, что решение проблем, связанных с перенаселением, у животного имеет биологические основания, а у человека – социальные и политические.

Агрессивность животных в естественных условиях обитания

О поведении животных в естественных условиях, к счастью, имеется довольно много «свежих» исследований. Все они утверждают, что наблюдаемая в неволе агрессивность у тех же самых животных в естественных условиях не проявляется⁷⁹.

Среди обезьян в первую очередь павианы пользуются дурной славой насильников. Однако Уошберн и Де Вор, которые в 1961 г. очень серьезно изучали этих животных, утверждают, что они практически не проявляют агрессивности, если

⁷⁹ Первым, изучая шимпанзе, провел полевые исследования Г. В. Ниссен (205, 1931), затем Бингхэм (36, 1932) опубликовал работу о гориллах и Карпентер (57, 1934) о ревунах. Потом на 20 лет изучение приматов было приостановлено, и только в середине 50-х гг. начались систематические исследования на базе нового японского обезьянника при университете Киото; одновременно Альтман провел серию работ в колонии резусов в Кайо (Сантьяго). Сегодня такими исследованиями занимаются более 50 ученых. Заслуживает внимания большая книга Де Вора (75, 1965), который выступил как автор и редактор и поместил в своем сборнике не только самые лучшие работы о приматах, но и великолепную библиографию. Особо хочется отметить следующие работы: о бабуинах – К. Холла и Де Вора (112, 1965), интересное исследование С. Саусвика, М. Бега и М. Сиддики о резусах в Северной Индии (253, 1965), а также: «О поведении горных горилл» – работа Шаллера (237, 1965), «Шимпанзе в лесах Бадонго» – братьев Рейнольдс (230, 1965), исследование о шимпанзе – Джейн Лавик-Гудолл (105, 1965; 272, 1968). Кроме того, я дальше использовал работы А. Кортланда (151, 1962) и К. Холла (112, 1964).

не нарушается их общая социальная структура (275, 1961). А проявление агрессивности не идет дальше угрожающей мимики и поз. В опровержение рассуждений о скученности (crowding) очень интересны наблюдения Уошберна, который говорит, что ни у водопоя, ни в других местах скопления павианов стычек или драк между семьями не было зафиксировано. При этом автор насчитал более 400 обезьян, которые одновременно находились около одного-единственного водопоя и при этом не проявляли никаких признаков вражды. Эту картину успешно дополняет исследование К. Холла (112, 1960), которое было посвящено южноафриканским бабуинам.

Особый интерес представляет исследование агрессивного поведения у шимпанзе, поскольку эти приматы более всего похожи на человека. Еще несколько лет назад нам почти ничего не было известно о жизни шимпанзе в Экваториальной Африке. И вот трое ученых почти одновременно проводят серию наблюдений за их жизнью в естественной среде обитания. Результаты оказались весьма впечатляющими и чрезвычайно интересными в аспекте нашей темы.

Братья Рейнольдс, изучавшие жизнь шимпанзе в лесах Будонго, сообщают, что с их агрессивным поведением они встречались чрезвычайно редко: «За 300 часов наблюдения мы были всего 17 раз свидетелями ссор, да и то до настоящих схваток дело не дошло, а стычки длились не более нескольких секунд» (230, 1965, с. 416). Только два раза из

этих семнадцати случаев в столкновении участвовали взрослые самцы. Сходные наблюдения дает и Джейн Лавик-Гудолл: «Только четыре раза удалось заметить возмущение и угрожающую стойку, когда младший по рангу самец попробовал “отведать пищи раньше, чем это сделал старший”... Лишь один раз мы видели стычку взрослых самцов» (105, 1965, с. 465). С другой стороны, замечено «много различных способов установления и поддержания хороших отношений (целый ряд жестов, ужимок, знаков внимания – от ловли блох до заигрываний)» (105, 1965, с. 469). Иерархия в чистом виде с лидером во главе здесь не представлена, хотя в 72 ситуациях взаимодействия речь явно шла о соблюдении «табели о рангах».

А. Кортланд сообщает о том, как у шимпанзе проявляется нерешительность – ситуация, важная для понимания человеческой рефлексии, «раздвоения личности» и т. д. Приведу цитату:

На воле шимпанзе, которых мы наблюдали, были осторожными и медлительными. На это обращают внимание все исследователи. За очень живым и любопытным взглядом чувствуется неуверенность сомневающейся личности, которая постоянно пытается понять смысл нашего безумного мира. Складывается впечатление, что у шимпанзе вместо уверенности, диктуемой инстинктом, появилась неуверенность, подсказанная интеллектом, – и это при отсутствии решимости, характерной для человека (151, 1962, с.

В экспериментах с обезьянами в условиях зоопарка было установлено, что шимпанзе демонстрируют меньше врожденно-генетических образцов поведения, чем маленькие обезьяны⁸⁰.

Хочется еще процитировать Джейн Лавик-Гудолл, ибо она подтверждает важное наблюдение Кортланда о нерешительности в поведении шимпанзе. Вот что она пишет:

Однажды Голиаф появился очень близко от нас вместе с неизвестной нам рыжеватой самочкой. Мы с Хуго мгновенно бросили кучу бананов на то место, которое было в поле зрения обезьян. Затем мы спрятались в палатку и стали вести наблюдение. Когда самочка увидела нашу палатку, она быстро вскарабкалась на дерево и уставилась оттуда на бананы. Голиаф тоже сразу остановился и посмотрел сначала на самочку, а затем – на бананы. Он спустился немного вниз по лиане, остановился и снова посмотрел на свою подружку. Оба не трогались с места. Голиаф медленно съезжал вниз по лиане, самочка тоже молча спускалась с дерева, и мы потеряли ее из виду. Когда Голиаф оглянулся и увидел, что она исчезла, он рванулся

⁸⁰ Так, супруги Хайес из лаборатории биологии приматов в Орандж-Парк во Флориде, которые в течение двух лет воспитывали дома шимпанзе и систематически подвергали ее проверкам по методикам «продвинутого» человеческого образования, установили у обезьяны в возрасте 2 лет и 8 месяцев коэффициент интеллектуальной деятельности на уровне 125 единиц шкалы IQ (120, 1951; 121, 1951).

назад. Через несколько минут самочка снова влезла на дерево. Голиаф помчался за ней следом с взъерошенной шерстью. Он посидел с ней рядом (поискал блох) и стал снова кидать взгляды вниз, на наш лагерь. Даже если он не видел в этот миг бананов, он все равно знал, что они есть, а поскольку 10 дней его не было в лагере, у него, наверное, «слюнки потекли» от голода и жажды. Через некоторое время он спустился и снова направился к нам, но через каждые два шага останавливался, чтобы оглянуться на самочку. Она сидела не двигаясь, но мы с Хуго увидели явно выражение страха и желание сбежать. Когда Голиаф спустился еще ниже, он из-за деревьев, видимо, перестал видеть самочку, потому что оглянулся и сразу снова прыгнул на дерево и стал смотреть вверх. Она все еще сидела не шевелясь. Увидев ее, он снова стал спускаться вниз; «проехав» несколько метров, он прыгнул опять вверх на другое дерево. Снова посмотрел на подружку, она была на месте. Так прошло минут пять, прежде чем Голиаф направился в сторону бананов.

Когда он оказался на полянке у палатки, перед ним встала новая проблема: здесь не было деревьев, а с земли не видно было самочку. Трижды он выходил на полянку и снова возвращался, чтобы прыгнуть на первое попавшееся дерево и снова проверить, не исчезла ли подружка. Она была на месте. И вот у Голиафа, видимо, созрело решение – он галопом кинулся к бананам. Но, оторвав всего один банан, повернулся и снова стал взбираться на дерево. Самка по-прежнему

сидела на ветке. Голиафа это, видимо, успокоило. Он уже съел свой банан и ринулся назад к бананам, схватил целую связку и опять взлетел на дерево. И тут он увидел, что самка исчезла; пока он ходил за бананами второй раз, она спрыгнула с ветки вниз, оглянувшись еще раз через плечо на Голиафа и тихо «испарилась». Было забавно наблюдать его смятение. Он бросил бананы, кинулся наверх, туда, где он оставил подружку, «пошарил» всюду, где мог, а затем соскочил вниз и тоже исчез из нашего поля зрения. Следующие 20 минут он провел в поисках самки. Но найти ее он не смог и в конце концов отказался от этой затеи. Измученный и грустный, он снова вернулся в лагерь и медленно стал пожирать бананы (272, 1971, с. 95; нем.: с. 82–84).

Как видно из этого отрывка, шимпанзе-самец проявляет довольно странную нерешительность; он не может сделать выбор между бананами и самкой. Когда мы встречаем подобное поведение у человека, мы говорим о невротической неуверенности... ибо нормальный человек не имеет затруднений в подобной ситуации, а действует в соответствии с доминантой своей личности. Личность «орально-рецептивная» предпочтет еду сексу, а личность с «генитальным характером» подождет с едой, пока не удовлетворит свой сексуальный голод. И в том и в другом случае человек будет действовать, не сомневаясь и не медля понапрасну. Поскольку в случае с самцом шимпанзе мы вряд ли можем предположить наличие невроза, ответ на вопрос о причинах такого

поведения надо поискать у Кортланда, ибо Лавик-Гудолл, к сожалению, не ставит этих вопросов.

Кортланд великолепно описывает терпимость шимпанзе к детям и почтение к старшим, даже после того как те уже утратили свою физическую силу. Лавик-Гудолл также обращает внимание на эту характерную черту:

Взрослые шимпанзе обычно очень терпимы в отношениях друг с другом. Самцы проявляют больше выдержки, чем самки. Типичный пример такого терпения со стороны старшего по рангу самца мы наблюдали, когда в его присутствии «юноша» вскочил на пальму и стал быстро пожирать спелые плоды. Взрослый самец не проявил ни малейшего желания согнать оттуда юнца: он тоже вскарабкался на это дерево, сел рядом с младшим и стал лакомиться плодами, срывая их с другой стороны.

Особенно поражает терпимость самцов при спаривании. Однажды удалось наблюдать такую сцену, когда семеро самцов по очереди «занимались любовью» с одной и той же самкой, ни один не проявил никаких признаков агрессивности, спокойно ожидая, когда придет его черед. Один из самцов был еще совсем юным (272, 1968, с. 214).

О поведении горилл в естественных условиях мы читаем у Шаллера: «Обычно они миролюбивы. Я видел, как самец проявлял некоторое подобие агрессивности в отношении самки и молоденького самца: оба случая были реакци-

ей на попытку вторжения “пришельца” из чужой группы. Но затем мы убедились, что даже в отношениях между разными группами агрессивность не идет дальше настойчивого разглядывания и чавканья» (237, 1963, с. 289–292).

Особого внимания заслуживают описания поведения шимпанзе при кормлении, которые дает Джейн Лавик-Гудолл. Вот что она пишет: «...шимпанзе почти что всеядны... Но в основном они вегетарианцы, т. е. большая часть рациона питания состоит из растений» (272, 1968, с. 182). Но были и исключения из правила. Так, Джейн Лавик-Гудолл и ее ассистент наблюдали 28 случаев, когда шимпанзе поедали мясо других млекопитающих. Лабораторный анализ кала, проводившийся систематически на протяжении пяти лет, позволил установить следы от 36 различных млекопитающих, кроме тех, кого они видели воочию в процессе их пожирания. Много чрезвычайных случаев описала наблюдательная исследовательница. Например, трижды она своими глазами видела, как самец шимпанзе поймал и убил молодого павиана, а один раз – краснозадую обезьяну, предположительно женского пола. Кроме того, она обнаружила и описала поведение группы шимпанзе из 50 особей, которые съели за 45 месяцев 68 млекопитающих (преимущественно приматов), т. е. в среднем по полторы «штуки» в месяц.

Эти цифры подтверждают приведенное выше суждение исследовательницы о том, что в основном пища шимпанзе состоит из растений и что мясная пища – исключение. Но

в своей научно-популярной книге «В тени человека»⁸¹ писательница пишет, что они с мужем «часто видели шимпанзе, пожирающих мясо» (272, 1971), не приводя при этом никаких количественных данных, из которых можно было бы сделать вывод о сравнительной частоте употребления мяса. Я специально привлекаю внимание читателей к данному противоречию популярной писательницы, поскольку после 1971 г. в многочисленных публикациях других авторов указывалось на «хищный» характер шимпанзе, при этом ссылки делались на данные исследований Джейн Лавик-Гудолл (272, 1971). А на самом деле, как считает большинство специалистов, шимпанзе является всеядным существом, хотя преимущественно потребляет растительную пищу. А то, что иногда (явно редко) они едят мясо, не делает их ни мясоедами, ни тем более хищниками. Поэтому употребление этих слов («хищник», «мясоед») есть лишь попытка обосновать и извинить тот факт, что человек от природы деструктивен.

Проблема территории и лидерства

Распространенное представление об агрессивности животных в значительной мере возникло под влиянием понятия «территориальные претензии». Роберт Ардри своими книгами «Территориальный императив» (16, 1967) и «Адам и его окружение» (16, 1968) произвел такое огромное впе-

⁸¹ На русском языке эта книга вышла в 1974 г. в изд-ве «Мир». – *Примеч. перев.*

чатление на широкого читателя, что никто теперь не сомневается, что человек унаследовал инстинкт охраны территории от своих дочеловеческих предков. И этот инстинкт многие преподносят нам как один из главных источников агрессивности и человека, и животного. Люди любят проводить аналогии, и многим очень удобной кажется идея, что причина войн также коренится во власти именно этого инстинкта.

Данная идея по многим причинам оказалась совершенно неприемлемой. Прежде всего, есть много видов животных, у которых инстинкт охраны территории не зафиксирован. Дж. Скотт утверждает, что «этот защитный инстинкт проявляется лишь у высокоразвитых видов – у членистоногих и позвоночных, и то довольно хаотично» (241, 1968а, с. 141). Другие исследователи «склонны считать», что так называемая защита территории – выдумка, на самом деле это фантастическое название для обычной поведенческой реакции на чужака, с элементами дарвинизма и антропоморфизма XIX в. А для доказательства этой гипотезы необходимы более развернутые систематические исследования (290, 1960, с. 244).

Н. Тинберген различает территориальный инстинкт вида и индивида. «Я уверен, что территорию выбирают по признакам, на которые животное ориентировано генетически. Это проявляется в том, что животные одного вида (или одной и той же популяции) выбирают себе среду обитания, соответствующую одному и тому же типу. Что касается отдельной особи и ее связей со своей территорией (со своим «гнездом»,

жилищем, местом выращивания потомства), то эти связи вырабатываются в процессе обучения» (266, 1953; нем.: 1967, с. 58).

При описании жизни приматов мы уже видели, что территории разных видов часто перекрещиваются. И если мы можем чему-то научиться, наблюдая человекообразных обезьян, так это тому, что различные группы приматов достаточно спокойно относятся к своей территории и что они не дают никаких оснований к тому, чтобы переносить на них образцы человеческого общества, которое ревностно охраняет свои границы и силой преграждает путь вторжению любого «чужака». Гипотеза о том, что принцип территориальности стал основой агрессивности, ошибочна и еще по одной причине. Ведь защита собственной территории предполагает выполнение функции *уклонения* от серьезных сражений, которые были бы неизбежны, если бы на территорию проникало так много посторонних особей, что вызывало бы перенаселение. На самом деле угрожающее поведение, которое принято квалифицировать как «территориальную агрессивность», является всего лишь инстинктивной программой поведения, направленной на равномерное распределение жизненного пространства и тем самым – на сохранение мира. Эта инстинктивная программа животного выполняет ту же самую функцию, что и правовое регулирование у человека. И потому, когда появляются другие, символические методы обозначения территориальных границ, предупреждаю-

щие, что «вход воспрещен», – инстинкт становится излишним. И конечно, не стоит забывать, что большая часть войн была развязана ради получения преимуществ какого-либо рода, а не ради охраны границ от угроз нападения (если не брать всерьез подстрекателей войны).

Не менее ошибочны и популярные в широких кругах представления о понятии лидерства. Многие животные виды (хотя и не все) живут иерархически организованными группами. Наиболее сильный самец доминирует (является лидером); он раньше других самцов получает пищу, сексуальные и другие радости, например ему первому чешут шерсть и выбирают блох...⁸²

Однако лидерство, как и территориально-охранительный инстинкт, встречается вовсе не у всех животных, да и у позвоночных и млекопитающих – тоже нерегулярно. Что касается лидерства у приматов, то здесь существуют большие различия между видами: так, у макак и павианов наблюдается довольно развитая, строго иерархическая система, а у человекообразных обезьян иерархия представлена менее четко. Вот что пишет о горных гориллах Шаллер:

110 раз я наблюдал взаимодействия, явно носящие характер иерархии с лидером во главе. Положение лидера обнаруживалось чаще всего в мелочах: ему

⁸² Редко кто проводит аналогию между такого рода иерархией и диктатурой, а не то можно было бы говорить о «врожденно-инстинктивных» корнях диктатуры (и здесь было бы не меньше логики, чем при отождествлении территориального инстинкта с патриотизмом).

уступали дорогу при входе, оставляли лучшее место или же он сам выбирал это место и «сгонял» с него нижестоящего самца. Для доказательства своего доминирующего положения горилла не предпринимает почти никаких действий. Обычно нижестоящий просто уходит с дороги при приближении лидера, или достаточно бывает одного взгляда последнего в его сторону. Самый явный жест лидера – это легкое похлопывание нижестоящего животного тыльной стороной ладони по плечу (237, 1965, с. 346; 1963, с. 240–244).

А братья Рейнольдс в отчете о поведении шимпанзе в лесах Будонго сообщают следующее:

Если и были какие-то различия в статусе между отдельными шимпанзе, то они составляли, может быть, какую-то долю процента от остальных моделей наблюдаемого поведения. Мы не встречали признаков линейной иерархии ни среди самцов, ни среди самок; мы не видели, чтобы кто-то из самцов имел исключительные права на бегущую самку, и постоянного лидера в группе тоже не обнаружили (230, 1965, с. 415).

Т. Роуэлл в книге о павианах высказывается против общей концепции лидерства. Он утверждает, что «иерархическое поведение тесно связано с возникающими стрессовыми ситуациями различного рода; в подобных ситуациях нижестоящее по иерархии животное первым проявляет неблаго-

получные психологические симптомы (например, более слабую выносливость в случае болезни). И коль скоро иерархическую структуру (ранг) определяет подчиненное поведение, а не доминирующее, как это принято считать, то можно рассматривать стресс как фактор, влияние которого зависит от индивидуальной конституции животного, и тогда понятно, что стресс одновременно вызывает такие изменения в поведении (покорность), которые и определяют установление иерархической социальной организации» (232, 1966, с. 441).

На основании своих исследований Роуэлл пришел к убеждению, что «иерархическая система устанавливается и сохраняется главным образом благодаря проявлениям покорности нижестоящих животных, а не как результат целенаправленных действий вышестоящих по укреплению своего лидерства» (232, 1966, с. 442).

Сходную мысль мы обнаруживаем у В. А. Мэзона, который вел наблюдения за шимпанзе.

Я хочу заметить, что выражениями «лидерство» и «подчинение» просто принято обозначать тот факт, что шимпанзе часто относятся друг к другу, как пугливые к пугающим. Конечно, можно предполагать, что внутри группы более крупные, сильные, неугомонные и воинственные особи (которые любого могут утешить) имеют в целом групповой лидерский статус. Может быть, это объясняет тот факт, что на воле взрослые самцы обычно занимают командное, доминирующее

положение по отношению к взрослым самкам, которые в свою очередь «командуют» молодыми. Но, кроме этих наблюдений, ничто больше не доказывает, что абсолютно все шимпанзе живут в иерархически организованных структурах. И тем более нет убедительных доказательств того, что у животных существует самостоятельное стремление к социальному лидерству. Шимпанзе отличаются своенравием, они импульсивны и жадны – и уже эти черты дают достаточно оснований для развития отношений лидерства-подчинения (так что вряд ли есть необходимость искать еще какие-то собственно социальные мотивы формирования иерархической структуры).

Таким образом, лидерство-подчинение следует считать всего лишь одним из аспектов взаимоотношений между двумя индивидами, а в социальных отношениях – естественным сопутствующим явлением... (176, 1970, с. 275).

Итак, на лидерство, если оно вообще имеет место, распространяется тот же самый вывод, который я сделал в отношении проблемы территориальности. Оно имеет функцию сохранения мира и единства в группе и препятствует ссорам, грозящим перейти в серьезную схватку. Человек, у которого этот инстинкт отсутствует, заменяет его договорами, правилами приличий и законами.

Человек часто описывал иерархическую организацию животных как пародию на свою собственную систему: «власт-

вующий босс» ведет себя как вождь, освещая своим блеском всех нижестоящих. Это правда, что у обезьян авторитет лидера часто держится на страхе, который он внушает другим членам стаи. Но у человекообразных (какими являются шимпанзе) авторитет вожака часто опирается вовсе не на страх перед наказанием со стороны сильнейшего, а на его компетентность и умение повести за собой всю стаю. Мы уже приводили пример из книги Кортланда (1962), когда старый седовласый шимпанзе, благодаря опыту и мудрости, играл роль лидера, несмотря на физическую слабость.

Какое бы место ни занимало лидерство в жизни животных, ясно одно: право на эту роль лидер должен заслужить и постоянно подтверждать – это значит, что он снова и снова должен доказывать сородичам свое превосходство в силе, уме, ловкости или других качествах, которые сделали его лидером.

Хитроумный эксперимент Дельгадо (1967, с. 183) с маленькими обезьянами показал, что лидер утрачивает свое доминирующее положение, если он хоть на мгновение потеряет те качества, которыми отличался от других.

Зато в человеческой истории все наоборот: как только в обществе был легитимирован институт лидерства, которое не опирается на личную компетентность, стало необязательным, чтобы властвующий (вождь) постоянно проявлял свои выдающиеся способности; более того – пропала необходимость, чтобы он вообще был наделен какими-либо выдаю-

щами качествами. Социальная система воспитывает людей таким образом, что они оценивают компетентность лидера по званию, униформе или еще бог знает по каким признакам; и пока общество опирается на подобную символику, средний гражданин не осмелится даже усомниться в том, что король не голый.

Агрессивность других млекопитающих

Не только приматы малоагрессивны, но и другие млекопитающие, хищники и нехищники, проявляют не столь высокий уровень деструктивности, как следовало бы ожидать, если бы гидравлическая теория Лоренца была верна.

Даже у наиболее агрессивных — крыс — агрессивность не достигает того уровня, на который нас настраивают примеры Лоренца. Салли Каригар привлекает наше внимание к другому эксперименту с крысами, который (в отличие от эксперимента Лоренца) четко показывает, что суть дела надо искать не во врожденной агрессивности крыс, а в определенных внешних обстоятельствах, от которых зависит большая или меньшая степень разрушительного характера отдельной особи.

После Лоренца Штайнигер проделал следующий эксперимент. В огромный загон он посадил подвальных крыс, собранных из разных мест, создав им почти естественную среду обитания. Сначала было такое

впечатление, что отдельные особи побаиваются друг друга; у них не было воинствующих настроений, но при случайных встречах они могли покусать друг друга, особенно если их сгоняли к одной стене и они торопились, налетая друг на друга⁸³.

Крысы у Штайнигера вскоре разбились на два лагеря и начали кровавую битву; бой был смертельным, пока не осталась одна-единственная пара. Их дети и внуки создали большую семью (или социум), которая уничтожала любую чужую крысу, запущенную в их среду обитания.

Одновременно и параллельно с этим экспериментом Джон Б. Колхаун из Балтимора также изучал поведение крыс. Первоначальная популяция Штайнигера состояла из 15 крыс, а Колхаун взял 14 крыс, также чужих, не связанных друг с другом. Но их загон был в 16 раз больше, чем у Штайнигера, и вообще лучше обустроен. Например, в нем были норы, лазы и другие убежища, которые бывают в естественных условиях жизни крыс.

27 месяцев шло наблюдение из башни, установленной в середине загона, и все факты подробно записывались в дневник. После нескольких стычек в период обживания пространства все крысы разделились на две большие семьи и никто больше не пытался ущемить другого. Нередко кое-кто начинал без причины бегать взад-вперед, а у некоторых это

⁸³ Большинство психологов сразу оценит ситуацию не как полевой эксперимент, а как лабораторный, особенно если животные «случайно» сталкиваются друг с другом (58, 1968, с. 132).

случалось так часто, что приходилось «охлаждать их пыл» (58, 1968, с. 132)⁸⁴.

Выдающийся исследователь агрессивности животных Дж. П. Скотт писал, что в противоположность позвоночным членистоногие очень агрессивны. Это доказывается на примере жесточайших схваток между омарами, а также на многочисленных примерах коллективно живущих насекомых, у которых самки набрасываются на самцов и поедают их (как у некоторых видов пауков, а также у ос и др.). Среди рыб и рептилий также часто встречаются агрессоры. Вот что пишет Скотт:

Сравнение физиологических оснований агрессивного поведения животных дает интересные результаты; главный вывод состоит в том, что первичный стимул к бою поступает извне, а это означает, что не существует никаких спонтанных внутренних стимулов, которые побуждали бы животное к нападению, независимо от условий его окружения. Следовательно, «агонистическое» поведение характеризуется совершенно иными специфическими факторами (физиологическими и эмоциональными), чем сексуальное поведение или поведение, связанное с приемом пищи...

В естественных условиях жизни животных вражда и агрессия в смысле *деструктивного*,

⁸⁴ См. исследования Барнета и Спенсера (18, 1951), а также работы Барнета (19, 1958; 1958a).

трудно корректируемого сопернического поведения практически не встречаются (241, 1968, с. 168. Курсив мой. – Э. Ф.).

А в отношении специфической проблемы внутренней спонтанной стимуляции агрессивности, которую провозгласил К. Лоренц, у Скотта мы читаем:

Все добытые в исследованиях данные указывают, что у более высокоразвитых позвоночных, включая человека, источник, стимулирующий агрессивность, находится снаружи; и нет никаких доказательств существования спонтанной внутренней стимуляции. Эмоциональные и физиологические процессы, состояния организма лишь усиливают и продлевают реакцию на стимул, но сами ее не вызывают (241, 1968, с. 173)⁸⁵.

Есть ли у человека инстинкт «не убивай»

Одним из важнейших звеньев в цепи рассуждений Конрада Лоренца о человеческой агрессивности является его гипотеза о том, что у человека, в отличие от хищника, нет никаких инстинктивных преград против убийства себе подобных; в объяснение этому он предполагает, что человек, как и все прочие нехищники, не располагает опасным естествен-

⁸⁵ Цинг Янг Куо (290, 1960) в своих экспериментах над позвоночными пришел к аналогичным результатам.

ным оружием (как когти, яд и другие средства) и потому внутреннее противостояние убийству ему было не нужно; и лишь создание искусственного оружия поставило в повестку дня вопрос о том, что отсутствие инстинкта «не убивай» представляет серьезную угрозу для мира. Однако надо проверить эту гипотезу. Действительно ли у человека нет внутренних преград против убийства?

Человек на протяжении своей истории так часто убивал, что на первый взгляд действительно трудно представить, что какие-то преграды убийству вообще существуют. Поэтому вопрос надо сформулировать более корректно: есть ли у человека нечто внутри, что мешает ему убить живое существо (человека или животное), с которым он более или менее знаком или связан какими-нибудь эмоциональными узами, т. е. кого-то не совсем «чужого».

Есть много доказательств того, что на этот вопрос следует ответить утвердительно: да, у человека есть такое внутреннее «не убивай» и доказано, что акт убийства влечет за собой угрызения совести.

Нет сомнения, что в формировании внутренней преграды к убийству определенную роль играет человеческая привязанность к животным и сочувствие к ним; это легко подметить в повседневной жизни. Очень многие заявляют, что не в состоянии убить и съесть животное, которое они вырастили и полюбили (кролика, курицу и т. д.). Есть люди, которым подобная мысль кажется отвратительной (убить и съесть), но

те же самые люди, как правило, спокойно и с удовольствием съедят такое животное, если не были с ним знакомы. Так что существует еще и другой вид преграды к убийству животного: трудно убить его не только в том случае, когда есть какая-то личная связь с ним, но и в том, когда человек идентифицирует его просто с живым существом⁸⁶.

Возможно, что возникает осознанное или неосознанное чувство вины в связи с разрушением жизни, особенно если убитое животное до этого было нам знакомо, – эта тесная связь с животным и потребность проститься проявляется весьма ярко в ритуальном культе медведя у охотников эпохи палеолита (167, 1952). Чувство единства всего живого нашло выражение в нравственном сознании индийцев, а затем и в известной заповеди индуизма, запрещающей убивать животных.

Не исключено, что внутренний запрет на убийство человека также опирается на ощущение общности с другими людьми и сочувствие к ним. И здесь не следует забывать, что примитивный человек не идентифицировал себя с «чу-

⁸⁶ По-моему, иудейский обычай, запрещающий в одно и то же время есть мясо и молоко, имеет те же самые корни. Молоко и молочные продукты – это символ жизни, живого животного. Поэтому запрет есть одновременно мясное и молочное указывает на тенденцию строго различать живое животное и мертвое, предназначенное в пищу. Такое разграничение в некоторых языках выражается в том, что существуют разные слова для понятия «мясо» (мясо живого зверя – *flesh*, а для еды – *meat*). В английском, например, есть разные обозначения живого и мертвого животного: о живых коровах и быках говорят *cows* и *bulls*, а об их тушах – *beef*, о живых свиньях – *pigs*, а о свинине – *pork* и т. д.

жим» (т. е. с индивидом, не принадлежавшим к его группе), он в нем не видел собрата, а воспринимал его как «что-то постороннее». Поэтому в примитивных обществах, как известно, убить своего, члена своей группы – это было тяжелейшее нравственное испытание, никто на это не соглашался; здесь одна из причин, по которой даже за тяжелейшее преступление человека не убивали, а изгоняли из общества. (Пример тому дает наказание Каина в Библии.)

Но нам нет необходимости ограничивать себя примерами из жизни примитивных народов. Даже в высокоцивилизованной культуре Древней Греции рабы не считались людьми в полном смысле слова.

И такой же феномен имеет место в современном обществе. В период войны каждое правительство пытается вызвать в своем народе такое отношение к врагу, как к «не-человеку». Их называют кличками, приклеивают ярлыки. Так, в Первую мировую войну англичане в пропаганде называли немцев «гуннами», а французы – «бошами». Такое отмежевание от врага достигает своей высшей точки, когда у противника – другой цвет кожи. Массу примеров этому мы находим во вьетнамской войне, когда американские солдаты чаще всего не испытывали никакого сочувствия к вьетнамцам, называли их «gooks» и даже слово «убивать» заменили на слово «устранить». Лейтенант Келли, который обвинялся в уничтожении десятков мирных жителей (стариков, женщин и детей) и был признан виновным, заявил в свое оправ-

дание, что он и не считал вьетнамцев людьми, что никто его не учил видеть в солдатах «Вьетконга» человеческие существа, что в армии существовало лишь понятие «противник». Является ли такой аргумент достаточным оправданием – уже не наш вопрос. Ясно одно: это сильный аргумент, потому что он правдив и выражает основное отношение американских солдат к вьетнамским крестьянам. То же самое делал Гитлер, когда обозначал политических противников словом «*untermenschen*» (низшие, люди второго сорта).

Итак, это стало почти правилом: чтобы облегчить своим воинам душу и дать им «право» на уничтожение противника, им прививают чувство отвращения к нему, как к «не-человеку».

Другой способ «деперсонификации» человека – это разрыв всех активных отношений с ним. Такое случается постоянно, когда речь идет о психической патологии, но ведь то же самое может случиться и с человеком, который не болен. В этом случае объектом агрессии может стать кто угодно; агрессору это безразлично, он просто эмоционально отделяет себя от него. Другой перестает быть для него человеком, а становится «предметом с другой стороны», и при этих обстоятельствах исчезает преграда даже для самой страшной формы деструктивности. Клинические исследования часто подтверждают гипотезу, что деструктивная агрессивность в большей части случаев бывает связана с хронической или сиюминутной атрофией чувств. Каждый раз, когда другое

человеческое существо перестает восприниматься как человек, может иметь место акт жестокости или деструктивности в любой форме. Вот простой пример. Если бы индуист или буддист (искренне и глубоко верящий и чувствующий сопричастность ко всему живому) увидел, как обычный современный человек, не моргнув глазом, убивает муху, он мог бы оценить это поведение как акт настоящей бесчувственности и деструктивности. Но он был бы при этом неправ. Ибо люди чаще всего не считают муху чувствующим существом и потому воспринимают ее как противную «вещь», помеху. Такие люди не являются жестокими, хотя и имеют, быть может, ограниченные представления о «живых существах».

VII. Палеонтология

Является ли человек особым видом?

Нельзя забывать, что данные Конрада Лоренца имеют отношение к внутривидовой агрессивности, т. е. сам Лоренц имеет в виду вражду между животными одного и того же вида. Тогда возникает вопрос: можем ли мы быть уверены, что в межличностных отношениях люди действительно чувствуют себя как «собратья» по виду и потому проявляют реакции, определенные генетическим кодом как «реакции на представителя своего вида»? Или же все обстоит совсем иначе? Разве мы не знаем, что у примитивных народов любой человек из другого племени или даже из соседней деревушки считался совершенно чужим, почти нечеловеческим существом и не заслуживал никакого сочувствия? Только в процессе социальной и культурной эволюции расширилось число тех, кого принято считать живыми существами. Так что явно есть основания полагать, что человек вовсе не считает представителями своего вида всех себе подобных, ибо способность распознать в другом существе человека не дана ему от рождения; инстинкты и безусловные рефлексy не помогают ему мгновенно распознать собрата, как это делают животные (по запаху, цвету или форме тела). А ведь экспери-

менты показывают, что даже животные иногда ошибаются в таких случаях.

Именно потому, что человек хуже всех живых существ вооружен инстинктами, ему не так легко удастся распознать, идентифицировать своих собратьев, как животных. Для него играют роль другие признаки – речь, одежда, обычаи и нравы. Т. е. отделить «своего» от «чужого» человеку позволяют критерии скорее психического, чем физического характера. Следствием этого становится тот парадокс, что ввиду отсутствия соответствующего инстинкта у человека вообще слабо развито «чувство рода», «сопричастности», «братства», ибо чужого он ощущает как представителя другого биологического вида. Иными словами, *сама принадлежность к человеческому роду делает человека таким бесчеловечным.*

Если эти рассуждения верны, то теория Лоренца «трещит по швам», ибо все ее утонченные конструкции и умозаключения имеют в виду агрессивные взаимодействия между членами одного и того же биологического вида. А в таком случае перед нами стояла бы совсем другая проблема – проблема врожденной агрессивности живых существ по отношению к представителям *других видов*. Но в смысле этой межвидовой агрессивности существуют неопровержимые и многочисленные доказательства, что она не имеет генетической программы и проявляется у хищников лишь в тех случаях, когда животное чувствует опасность. Может быть, тогда стоит поддержать гипотезу о генетической связи человека с хищника-

ми? Что лучше звучит: «человек человеку – овца» или «человек человеку – волк»?

Является ли человек хищником?

Что указывает на наличие у человека хищников-предков? Первый человекообразный (*Hominid*), которого мы могли бы отнести к своим предкам, – это *рамапитек*, живший более 14 млн лет тому назад в Индии⁸⁷. По форме черепа рамапитек близок к другим гоминидам и гораздо больше похож на человека, чем на современную человекообразную обезьяну. И хотя мы знаем, что он не был чистым вегетарианцем, а в дополнение к растительному рациону потреблял также и мясо, тем не менее вряд ли кому придет в голову считать его хищником.

Самые ранние человекообразные останки, которые нам известны по *рамапитеку*, принадлежали виду *Australopithecus robustus* и более развитому *Australopithecus africanus*, которого нашел Раймонд Дарт в Южной Африке

⁸⁷ Является ли *рамапитек* гоминидом и прямым предком человека – этот вопрос до сих пор дискутируется (см. подробный обзор и анализ у Д. Пилбима (218, 1970)). Почти все данные палеонтологов во многом опираются на спекулятивные рассуждения. Не знаешь, какому автору можно больше доверять. Детали человеческой эволюции в общем не существенны для нашей цели, но я выбрал из всех самую распространенную точку зрения и старался не вдаваться в полемические подробности даже в отношении главных ступеней развития человеческого рода. Для меня опорой послужили работы: 218, 1970; 201, 1970; 287, 1971; 240, 1971; 263, 1960; 229, 1965; 231, 1958, 1967; 220, 1965; 275, 1968; 55, 1966.

в 1924 г.; считается, что его возраст – более двух миллионов лет. Этот *австралопитек* стал предметом многочисленных споров. Большинство палеоантропологов согласились, что все *австралопитеки* являются гоминидами, хотя некоторые, например Пилбим и Симоне (218, 1965), полагают, что в случае с *Australopithecus africanus* речь уже идет о первом человеке.

В дискуссии об *австралопитеках* огромную роль играет тот факт, что они уже применяли орудия труда, а это является главным доказательством того, что речь идет о человеке или, по крайней мере, о его предке. Правда, Льюис Мэмфорд очень убедительно³¹ настаивает, что для идентификации человека, как такового, недостаточно обнаружить орудия труда и что эта ошибочная точка зрения, скорее всего, связана с нашей современной переоценкой роли техники (198, 1967). После 1924 г. были обнаружены новые останки, но по вопросу об их классификации среди ученых так же мало единства, как и по вопросу о том, был ли австралопитек мясоедом-охотником или производителем орудий труда⁸⁸. И все

⁸⁸ Уошберн и Хауэлл (275, 1960, с. 40) считают маловероятным, чтобы ранние низкорослые *австралопитеки*, дополнявшие растительную пищу мясом, убивали много животных, а более поздние и более крупные человекообразные, которые пришли им на смену, начали выращивать молодняк. Нет никаких данных о том, что эти существа умели охотиться на вегетарианских млекопитающих (что было характерно для африканского плейстоцена). Это мнение Уошберн высказывал еще в своей ранней работе (275, 1957, с. 614). «*Австралопитеки* сами скорее были дичью, чем охотниками». Хотя позднее он и допускал мысль, что гоминиды, возможно, были охотниками (275, 1968).

же мнение большинства исследователей совпадает в одном: что *австралопитек* был всеядным, о чем свидетельствует разнообразие его пищи. Кэмпбелл (55, 1966) приходит к выводу, что австралопитек ел все: рептилий, птиц, маленьких млекопитающих (например, грызунов), червей и фрукты. Он раздирал маленьких животных, которых мог добыть без оружия (и без специальных усилий). Охота же предполагает совместные усилия, наличие соответствующей техники, следы которой относятся к гораздо более позднему времени; и с этим временем как раз совпадает появление человека в Азии (около 500 тыс. лет до н. э.).

Однако был ли *австралопитек* охотником или не был, это не может изменить того безусловного факта, что гоминиды (как и их предки из человекообразных обезьян) не были хищниками с физиологическими и морфологическими признаками хищных мясоедов (как волки или львы). Но несмотря на бесспорные факты, кое-кто из ученых предпринял попытку представить *австралопитека* как своего рода палеонтологического «Адама», который привнес в человеческий род первородный грех деструктивности; эту идею отстаивает не только склонный к драматизму Ардри, но и такой серьезный исследователь, как Д. Фриман, который говорит об *австралопитеках* как об этапе «приспособления к мясоедству, кровопролитию, а также к хищническим, каннибальским наклонностям и привычкам... Так, палеоантропология в последнее десятилетие создала филогенетические основа-

ния для выводов, о которые споткнулись психоаналитики в своих исследованиях человеческой природы» (98, 1964, с. 115). И в заключение Фриман подводит итог: «В целом антропологи могут согласиться, что натура человека, а в конечном счете и вся человеческая цивилизация своим существованием обязаны необходимости приспособливаться к хищникам, как это имело место с *австралопитеком-мясоедом* в Южной Африке в период плейстоцена» (98, 1964, с. 116).

В дискуссии, которая развернулась после его сообщения, Фриман несколько утратил свою уверенность, говоря: «В свете новых палеоантропологических открытий возникла гипотеза, что некоторые аспекты человеческой натуры (в том числе, *вероятно*, жестокость и агрессивность) находятся в какой-то связи со специфически хищнической адаптацией к мясоедству, которая была характерна для эволюции гоминидов, а в период плейстоцена имела решающее значение. Эта гипотеза, по-моему, заслуживает серьезной проверки (и именно научной, а не эмоциональной аргументации), ибо она касается вещей, о которых мы пока еще почти ничего не знаем» (98, 1964, с. 124. Курсив мой. – Э. Ф.). То, что в докладе фигурировало как факты (которые с точки зрения палеоантропологии позволяют делать ретроспективные выводы о человеческой агрессивности), в дискуссии превратилось в довольно скромную «гипотезу, которая заслуживает проверки».

Исследования такого рода с самого начала имели недоста-

точную точность и ясность из-за смешения понятий «хищник», «мясоед», «охотник» и других, по поводу которых Фриман и многие другие авторы допускали массу путаных рассуждений.

В зоологии понятие «хищник» имеет строгую научную дефиницию. К ним относятся семейства кошачьих, гиен, собак и медведей; их признаки – сильные клыки, а также острые когти. Хищник добывает себе пропитание, убивая и поедая других животных. Его поведение генетически запрограммировано, а обучение играет второстепенную роль. Кроме того, агрессивность у хищников имеет, как уже упоминалось, совершенно иную неврологическую основу, нежели защитная (оборонительная) агрессивность⁸⁹

⁸⁹ Хищника даже нельзя назвать агрессором, ибо в отношении своих сородичей он вполне миролюбив и даже дружелюбен (примером может служить поведение волков) (98, 1964, с. 123).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.